

УЛЬЯ НОВА

СОБАЧНИЙ ЦАРЬ

РОМАН-ОБЕРЕГ



Улья Нова

Собачий царь

«ЭКСМО»

2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Нова У.

Собачий царь / У. Нова — «Эксмо», 2016

ISBN 978-5-699-90887-5

Говорила Лопушиха своему сожителю: надо нам жизнь улучшить, добиться успеха и процветания. Садись на поезд, поезжай в Москву, ищи Собачьего Царя. Знают люди: если жизнью недоволен так, что хоть вой, нужно обратиться к Лай Лаичу Брехуну, он поможет. Поверил мужик, приехал в столицу, пристроился к родственнику-бизнесмену в работники. И стал ждать встречи с Собачьим Царём. Где-то ведь бродит он по Москве в окружении верных псов, которые рыщут мимо офисов и эстакад, всё вынюхивают-выведают. И является на зов того, кому жизнь неважно. Даст, обязательно даст Лай Лаич подсказку, как судьбу исправить, знак пошлёт или испытание. Выдержишь – будет тебе счастье. Но опасайся Брехуна, ничего не скрывать от его пронзительного взгляда. Если душа у человека с червоточинкой, уводит его Лай Лаич в своё царство. И редко кого оттуда выпускает человеческий век доживать...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-90887-5

© Нова У., 2016
© Эксмо, 2016

Содержание

Предисловие	6
Глава 1	9
Глава 2	28
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Улья Нова

Собачий царь

© Нова У., текст 2016

© Тимофеева В., иллюстрации, 2016

© Кузнецова А., предисловие, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Предисловие

Улья Нова – литературное имя писательницы, чьё настоящее имя ещё больше напоминает псевдоним, поскольку она полная тёзка члена одной очень известной семьи, оставившей неизгладимый след в российской истории. Сочетание её паспортных имени и фамилии вызывает в воображении образ строгой бабушки в белом воротничке, с гладким зачёсом платиновой седины, столь резко контрастирующий с юным и дерзким обликом этой стильной современной москвички, что имя можно было оставить и своё – такие имена часто присваивают люди, которым куда меньше повезло.

Тем не менее литературное имя получилось говорящим: тексты этой писательницы похожи на улы. Каждый новый роман вырастает, как соты, из ячеистых структур абзацевой архитектоники. Эти соты заполняются пёстрой пылью наблюдений и впечатлений, загустевшей в плотный, ароматный, чуть терпкий и немного вязкий текст.

И возникает вита нова – новая жизнь, невиданная, причудливая, какой ещё не было: каждый роман Улья Новы – замкнутый, самодостаточный мир, живущий по законам собственной природы.

Эти вселенные роящихся образов и похожи и не похожи одна на другую. Похожи единством приёма – писательница говорит голосами своих героев, погружая читателя в их индивидуальныe миры, нередко экзотические. Так, в романе «Лазалки» мы видим мир глазами маленьких детей, смотрим на окружающую действительность из самого детства, ойкумена которого – двор и окрестности. И в реалистическом повествовании возникает неожиданный сдвиг, делающий его сродни фантастическому, не нарушая законов жанра.

А непохожи потому, что герои всякий раз новые, миры иные, голоса разные.

В романе «Собачий царь» с жанровым подзаголовком «роман-оберег» основное действие происходит в современной Москве, однако мир его героев куда пространнее любого чётко очерченного локуса.

Мир этот – мифологически-сказочный. Правят им древнейшие божества, они же – человеческие просьбы: Дайбог, Недайбог и Избавьбог.

Помазанники этой троицы – лукавые цари: Вихорь Вихорович Придорожный, что спутывает все тропинки в дальней русской глубинке, и Лай Лаич Брехун с тремя псами-осведомителями, выискивающими недотёп. Брехун подговаривает нестоличных мужчин съезжаться в Москву, там даёт им подлые задания, всех неуспешных превращая в собачьи своры, и судьба их тогда – *проживать каждый день как последний*.

Есть в этом мире и герои, которые в русской традиции отнюдь не полубоги. Это бабы у разбитых или пока ещё целых корыт, деды, раздающие рекламу у метро, зазывалы у ресторанов, бомбилы на перекрёстках, девицы, вышедшие покататься по московским проспектам на роликах и похищенные хтоническими чудовищами в вековую офисную тоску, которую развеет ненадолго разве что вечерний Разгуляй. Словом, обыкновенные москвичи, добрая половина которых москвичами не рождается, а становится. Поэтому у одного московского жителя есть сестра в тайге, косматая да бельмастая, но родная и кровная. Стыдится он её, но регулярно навещает на «Чайке», отмывает и забирает в гости. А у другого москвича, скоробогатого, осталась в городке трёхэтажном, с ткацкой фабрикой, брошенка...

Через язык романа проходят немосковские широты: архангельский сказ, юмор вологодских бухтин, стиль заговоров и заклинаний тайги, где тропинки с чужинкой обманывают пробирающихся через хвойные заросли путников.

Литературный фольклор развивается в фонах и образах народной демонологии: домовая Нехотка, Куприяниха-песельница, на опушке за оврагом похороненная; Храпуша,

Хрипуша, Зябуха да Дремлея, золовки Недайбога; и пузыри земли помельче: зимцерлы, омутницы, люмбелы, дзевой...

Так современный пласт сюжета обретает сферическую объёмность: историческую глубину и широту российской географии. А история с географией прирастают живым и узнаваемым культурным слоем настоящего времени: холодильники и мобильники, Сам-Первый с Самим-Вторым, то бишь президент и премьер; бородинский хлеб с пошехонским сыром и телевизор, вездесущий настолько, что даже явился в бреду деревенской бабе, замерзающей у могилы соседки.

Особенно колоритно встречаются сказ с актуальностью (современностью?) в описании телерекламы, которое вечно голодный мужик-недотёпа, отправленный сожительницей из таёжной деревни в Белокаменную на заработки, письмом домой отправил: *«Улыбается с экрана молодая да чужая. Накрошила в чугунок всякой зелени, редиски и огурца, перед носом тот чугунок пронесла и ушла куда-то в синие двери, даже для приличия откусать не предложила. Йогурты в пасть суют, а лизнуть не дают...»* Так выглядит главный движитель этого мира – жор московский. Не голод привычный, сгоняющий в столицу люд из бедствующих регионов, а именно жор, заставляющий сытых людей страдать неутолимым аппетитом.

Эту алчность, это неумолчное «дай», ставшее постоянным шумовым фоном романа, выражает и развёрнутая метафора – ужение рыбы. День и ночь под Нагатинским мостом сидят над прорубями скрюченные мужики – метафизическая картина брейгелевской выразительности. Золотую рыбку (или сказочную щуку) надеются выловить. Весна пришла, и только рыбаки её не заметили: *«Никуда они с места не сдвинулись, ничего они в воздухе не чуяли, на расстрёпанное солнышко не глазели, голосистые гудки городские мимо ушей пропускали. Изредка дымили папиросками. За лунками понуро следили и проснувшуюся рыбу прикармливали»*. Пока не унесло их на отколовшейся льдине.

А весна наступила, когда укатила восвояси зима, которая тоже в столице не прописана: московская зима – это, оказывается, Зина Озёрная, та самая брошенка из казкого городка, оставленная мужиком Башляем, который открыл пельменную в Первопрестольной и так разжирел, что Зина, бросившись было за ним через озеро и достигнув Белокаменной уже озёрницей, – не узнала его и не отомстила...

Здесь за каждым героем – своя сказочка, и что кому на роду написано – хранит таинственная книжка, притаившаяся в пустой библиотеке рыбацкого посёлка, причём в отделе периодики. То есть нет конца этим сказкам о рыбаках и рыбках: завершаются одни – начинаются другие. Но вот беда: герои-то не знают, что их судьбы на суровой берёзовой бумаге записаны, и всё норовят перепрыгнуть в сказочку покладнее своей, оттого и страдают в финале сильнее, чем начали.

Так, девушка Липка, у которой умер любимый пекинес, однажды встала на ролики и исчезла из московской родительской квартиры – *покатилась и докатилась* до эротической сцены с Собачьим царём на Лихоборских Буграх: *«Веселился Брехун, девицу развлекал, себя ублажал, неслись они на сером волке по дну моря-одеяла, разметались золотые волосы, расстрепались взмокишие патлы, пропотели оба, ослабли, всё равно молчали да скакали как полоумные»*. А в конце книги вынырнула Липка дивой в *жинсах*, брезгливо покидающей жилище очередного не оправдавшего надежды краснобая-царевича, наследника престола Лаева.

Но почему же всё-таки «роман-оберег»? Не потому ли, что сказка ложь, да в ней намёк, а кто предупрежден, тот защищен?

И самый сильный оберег для всех героев невесёлых сказок нашёл, взглянув вверх, а не вниз, лохматый пёс, когда-то бывший мужиком и имеющий надежду вернуться в человеческий мир, потому что Собачий царь раз в тридцать-сорок лет отпускает одного такого бедолагу рассказывать людям свою грустную сказку, чтобы уважали Собачьего царя (и боялись). Оберег этот – красота мира, полного неразгаданных тайн, а значит, и надежды для любого

бедолаги (из нас?): «Однажды, на самом краю Зимы, в небесах над городом возьмут и остановятся облака. Почему они это, не знаю, может быть, от снега устали и решили передохнуть. И вот, грустишь ты, Молчальник, укryвшиcь от чужих глаз за двумя рядами богатырских лип, а над твоей головой облака замерли и висят...»

Красота, как известно, спасёт мир, а в нем – тех, кто умеет её видеть.

На том сказка не вся, да больше говорить нельзя.

Зато можно читать.

Анна Кузнецова

Глава 1 Топтыгин

С судьбой Топтыгин согласен, но помалкивает и виду не подаёт. И тем не менее все будние дни, какой ни возьми, имеют обыкновение час за часом нищать, истончаться, потихоньку в вечер превращаться.

Прокуковало радио рабочий полдень. Пора из берлоги родной вылезать. Пробуждается Топтыгин от бездействия, по волшебству обретает вид хитроватый и прищур вороватый. Гром ещё не грянул, можно было бы часок помечтать на ту тему, кто она, эта тараторка из радио, которая, что ни день, весело и бойко прославляет целебные свойства подорожник-травы. Но Топтыгин уже отмахнулся от газетки. С горечью отключает он тараторку и боязливо поглядывает на часы. Не в силах усидеть на месте, срывается с тахты. Ох и летает по квартире – не мужик, а ласточка перед грозой. Тут Топтыгин возится, пиджак щёткой царапает. Там Топтыгин шуршит, папиросы разыскивает. И в шкафу наглаженное раскидывает, разложенное по полочкам разбрасывает, возмущаясь, куда же делись штаны.

Готовится Топтыгин к бегству, за сборами озадаченно потирая щетину на подбородке. Щетина у него растёт островками, словно на болоте осока колючая, очень уж вид придает подозрительный. Поразмыслив, решает Топтыгин и сегодня как-нибудь обойтись без бритвы: а то в спешке рука дрогнет, будешь потом весь в порезах ходить.

Теперь, кажется, к побегу готов. С нетерпеливым трепетом выплывает он у двери, надвигая ботинки. Но случается же изо дня в день, как по расписанию: только обрадуется Топтыгин-человек, что судьбу вокруг пальца обвёл, тут же громом из ясного неба раздаётся торопливое скрежетание ключа в замке.

Антонина-жена с порога бессловесно торжествует. Брови её – ондатровый воротник, запахнутый в сильную пургу. Прошибает орлиный взор Топтыгина до хребта, отбивая тягу к сопротивлению, заставляя без оправданий уронить голову и покориться судьбе. Чтобы не пускать на самотёк жизнь косолапого, эта женщина степенная и важная целый день ломала голову, как бы убежать с работы пораньше. Уж она наплела про электрика, про новую люстру обмолвилась, кому надо их прогулы припомнила, до хрипоты побрехала со сменщицей, не без слёз пошептала с хозяйкой – всё же вырвалась на осенний рябиновый холодок.

Задыхаясь, бежала по парку Потаповна, каблуками давила красные яблочки. Из-под ног её срывались в небеса стаи перепуганных голубей. Когда она неслась по улице, в наискось застёгнутом плащике, в сбившейся измятой косыночке, удивлённые вороны на ветках качались и неодобрительно вослед каркали. Она шептала осипшим голосом извинения, когда сумками нечаянно рвала чулки. А ещё старалась в спешке не прибить дитё малое и не раздавить собачонку на тонких лапках, породу которой вслух при людях говорить неприлично... Всю дорогу жена мчалась, как карета «Скорой помощи» по платному вызову, вот почему теперь команды вырываются из её горла с кашлем. Шёлковые подвитые волосы превратились в подмокшее сено. А по румяным щёчкам катятся капли пота, похожие на куриный бульон, и виснут на многоступенчатом подбородке.

Плащик летит на вешалку, ботинки срываются с ног, в три прыжка вторгается Потаповна на кухню. Кастрюли покорно вскакивают на плиту: кипят, бурлят, громяхают литаврами крышек. Чайник трубит-заливается, сковородки чирикают и шипят, нож сверкает и крошит, морковь шаркает туда-сюда об тёрку. Чудится издали, что партизанский отряд разъярённых баб шумит и потеет, самозабвенно стараясь вырвать Топтыгина из обычной безмятежной одури. Не тратя время на разбирательства, жмёт жена на худенькое плечико, приговаривает: «Садись, горе». И опускает кроткого на табурет.

Дымится перед Топтыгиным полная тарелка щей, вкладывается в его руку ломоть хлеба, в другую, онемевшую и повисшую плетью, вставляется ложка. Золотая баба Потаповна усаживается рядом, подпирает кулаком щеку, разглядывает исподлобья, как Топтыгин покорно обжигается супом. Не жена глядит, а сыч следит, как он безропотно уплетает тугое мясо с прожилками. Каждые полминуты эта самая жена, словно крыло, вскидывает руку в часы и кукует во весь голос: «Не копайся», отчего сосредоточенный на еде Топтыгин вздрагивает, рискуя подавиться, обжечься или от испуга слететь с табурета. «Как с ребёнком, честное слово, мять тебя размять», – бормочет он с набитым ртом. За это перед измученным Топтыгиным вырастает холм гречневой каши, увенчанный тремя сардельками и маринованным помидором, а в безвольную руку его вкладывается почерневшая кривоzubая вилка.

Топтыгин поглядывает на жену неприветливо, ковыряет гречневый холм неохотно, сардельку прокусывает, морщась. На самом деле он доволен, но мастерски это скрывает. А как не радоваться, когда сроду так не кормили Топтыгина, еды не подавали, к столу не подзывали. До прошлого мая жил он на пороге, чаще всего на лестничной клетке валялся, а соседи над ним головами качали и рты кривили. Эта самая Потаповна-жена, которая теперь так бережно его сторожит, раньше хуже мачехи выставляла за порог и у каждого встречного допытывалась: «Нет ли таблетки такой, чтобы потихоньку без алкаша косолапого одинокой остаться?» Так продолжалось до тех пор, пока не началось у неё соревнование с соседкой, поглотившее простодушную Потаповну с головой. Олимпиада вспыхнула в тот день, когда купила нижняя мобильный телефон и тут же прибежала хвастаться. Писклявый звоночек сотворил чудо: навек пробудил Потаповну от безразличия к удобствам. Под вечер условие упёрлось остриём в голодный живот Топтыгина: «Хочешь иметь потолок над головой, пол под ногами – становись специалистом, доллар в дом неси. Не хочешь – убирайся, не то подкуплю кого следует, изведут».

Писклявый звоночек соседкиного телефона настойчиво трещал в памяти Потаповны. Ох, не давал он ей спокойно спать. Эх, не давал чаёк хлебать, колбаской заедая. Не спала, не ела жена три дня. Потеряло пять кило тело её. Что ни утро – в раковине седые волосы клоками лежат. Что ни вечер – на кухне пузырьки с каплями полками стоят. Уж неделя прошла, не забылся писклявый звоночек, в животе у жены и в груди звенит. Велит ей срываться с места насиженного, зовёт бежать по переулкам. «Надо-надо, – подсказывает, – пристроить косолапого, чтобы груши он не околачивал».

На восьмой день деньги, скопленные за всю жизнь на чёрные дни, одним махом сняла Антонина со сберкнижки. Сколола ржавой скрепкой ту стопку, ни большую, ни малую, и бродила вокруг жёлтого магазинчика, обсуждая сама с собой «за» и «против». Весь вечер потом разные звоночки наперебой шумели под ухом Топтыгина. Ни на балконе с папироской, ни в уборной за дверью от них не укрыться, на лестнице и то слышать. Так нагуделась жена мобильным, что он несколько дней у Топтыгина во всём теле отдавался, на все лады сердце с ходу сбивал.

Но недолго суждено было Потаповне радоваться. Прибежала соседка поздно вечером, пальчиком поманила в гости, а насчет какого праздничка, молчит, ничего не говорит. Руки белые в бока уперла, зубами золотыми сверкает, чего-то затевает. Завела простодушных Топтыгиных к себе в логово, на кухню затащила. «Вот, – говорит, – знакомьтесь, новая стиральная машина». В общем, убила на месте обоих. Чувствительная к таким вещам Потаповна моментально от завести обмерла. Топтыгин окоchuрился следом – от дурных предчувствий. «Ох, плохая примета, что соседка купила себе стиральный агрегат. Эх, нехорошо, что соседка целую смену белья в него укладывает», – так предчувствовал Топтыгин. И не ошибся. Поселилась в жене зависть лютая, зависть бабья, не на день, не на два, на всю оставшуюся жизнь.

Тут бы сказочке и конец, но на другой день, надо же, возвращалась Потаповна с работы, а соседке новую дверь ставили. Не картонную, не драную, не словами срамными изрисованную. Ставили соседке дверь металлическую, настоящего Илью Муромца среди дверей. Поняла тогда Потаповна (сроду она отличалась здравым умом), что такую дверь заводят люди путные, не паляндры, не любмелы, не дзевои, одним словом, не сброд нечёсанный. Ко всему тому в придачу догадалась Потаповна, что за дверью за такой хранятся рублики, как в сбербанке, деревянные, упрятанные. А ещё за дверью той хранятся камешки, кольца, часики да чайники тефалевые, из шифона кружевные комбинации да из норки драгоценные шубечки. Проснулись в бабьей голове фантазии, засверкали в разуме видения, что ещё за дверь соседка спрятала. «Кошелёк-самотряс у плутовки есть! За диваном он лежит, под половиками или прибран под шкафчики, за полочки...» – так покой из жизни уносится, улетает малой птицею-певицею.

Что ни день, идёт Потаповна с работы вся в слезах. Что ни ночь, лежит жена, глаза разомкнуты. Как кино, проносятся видения; так мысль по потолку и скачет. Только эти мысли все бессвязные, только те виденья все грошковые, только слёзы те одна истерика. Не находит бабий разум выхода, всё сильнее от злости задыхается, от трескучей зависти погибается. И, естественно, к превеликому сожалению, сказочка на этом не кончается.

Как-то раз пришла Потаповна раньше двух часов домой, на балконе бельишко вешала, расправляла штопаные тряпочки. Вдруг машина грузовая гикнула, загудела что-то по-звериному, вмиг соседка из подъезда вырвалась и давай шептать чего-то грузчикам. А Потаповна-то на балконе простужается, от внимания вспотела вся, уж она глаза сощурила, уж и перегнулась как нешуточно. Так немудрено жену и выронить. Привезли к соседке спальный гарнитур. В целлофане носят к ней диванчики, в целлофане носят стол и креслица, с умыслом целлофан кой-где надорван... Вечером стряслась с Потаповной горячка, и совсем не помогали капельки, в уксусе не выручали марлицы. Через три часа приехала «нескорая», записали всё, давление смирели, впредь советовали не нервничать. И тогда Топтыгин вновь почувствовал, что готовит ему испытания жизнь.

Купила Потаповна новую хлебницу и три простынки с хризантемами. Сделала она причёску «ягнёночек», а косынку капроновую, с люрексом, сказала, что это ей на женский день преподнесли. Вот и зажили счастливо. Антонина поласковела, а Топтыгин и рад: чем баба ни утешилась, все добро. Только вот снова недолго длилось спокойствие: завела соседка кухонный комбайн, на весь дом гремела, что-то резала, на весь дом шумела всяким миксером. Зазвала Потаповну на пироги. А Топтыгина не привадила. «Не пуцу, – шепнула, – охламона в дом».

Шла Потаповна на следующий день и плакала, на ходу катились слёзы по щекам. До чего же были слёзы те солёные, а какие те слёзы были горькие, словно сине море размывало тушь, по щекам лилось, по сумке капало да на камни, на асфальт и падало. Привязался к ней на улице оборвыш, виду совершенно неприличного. Ростом не велик, взглядом чересчур востер, с редкой неухоженной бородкой, с патлами лохматыми-кудлатыми, в жинсах, на срамных местах залатанных. Подкатил упрямо и решительно, чуть не сбил испуганную женщину. Незнакомца брови разнопёрые: правая черна, седая левая. Незнакомца пиджачишко рваненький, сто пудов с плеча чужого носится. На спине рюкзак большой болтается. На руках колец-то не заметила – больно удивил в левом ухе болт. Не успела женщина опомниться, не нашлась, как лучше отмахнуться ей, а уж незнакомец улыбается, за холодную ладонь схватил Потаповну, объясняет тихо, уважительно: «Здравствуй, ненаглядна Антонинушка. Вот и угораздило нам свидеться... Ничего мне можешь не рассказывать, обо всех

твоих напастях извещен. Знаю: не живешь, а прозябаешь. По колено в долгах увязла. Надрываешься, как семижилная, ради горстки измятых рублей...»

Как не растеряться бедной женщине? Как от чар таких ей не растрогаться? Можно ль не исполниться доверия, если голос незнакомца ласковый, словно знает он её страдания, словно может он помочь злосчастию. «...И за что наказание тяжкое терпеливо сносишь двадцать лет: виснет на горбу твоём увалень, мужичонка без стыда, без совести. До копейки, до последнего зёрнышка проедает-пропивает твой труд. Надо ли с лентяем нянчиться? Что не выберешь мужчину дельного, положительного и одинокого, на все руки умелого мастера или специалиста с умом? Есть такое в народе поверие: клюют петухи слабую курицу, истязает Недайбог бабу невесёлую, на голову ей шишки сыплются, палки ей в колёса летят».

Никогда не слышала Потаповна, чтобы складно так слова сплетались. Никогда не видела Потаповна, чтоб таким умом глаза светились и лучилось чтоб расположение из такого вида неприличного. Речи ей навстречу льются сладкие, но слова текут вполне рачительно, не на ветер те слова пускаются – каждое обдуманное, веское: «Наблюдал я за тобою издали. Всюду бродят мои поверенные. Возле каждого подъезда московского мой дозорный иногда появляется и прохожим в душу глядит. Поначалу я не сомневался: тетка ломовая, закалённая, прошибёт любое препятствие, гору на пути свернет. Не один день, не два – многие месяцы доставлялись мне свежие вести и дремучей безнадёгой огорчали. Как же, думаю, так получается? Что ещё случилось с Потаповной? Может, опознались доносчики? Поослепли осведомители? Вместо каменной бабы Антонины за тетерей сонной наблюдают? Знаю: навязалась соседка, душу истрепала, сердце вымотала, будто бы нарочно своим счастьем назойливым и достатком дородным извела тебя...»

Варежку разинула Потаповна и от изумления обмерла. Продолжал незнакомец вкравчиво: «Долго над твоей бедой я раздумывал, сказочку твою в уме листая, многие недели усжевал. Не спешило появляться решение, по дороге где-то буксовало, среди лесов непролазных заблудилось да в овраге многоруком увязло. Но вчера, перед сном, поздним вечером наконец чего-то доехало. Горю твоему помогу. Слушай же: Лай Лаич я, Брехун – по прозвищу. А иначе говоря – Собачий царь. Я на всю Москву один-единственный. И по всей земле от края и до края заместителя мне не ищи. За участие в людях я прославился, за поддержку и заботу знаменит. Я успешно занимаюсь промыслом, дело моё быстро развивается, что ни день, растёт число желающих с Брехуном, со мною, повстречаться. До чего настырны просители! Сколько требуют к себе внимания! От наплыва людского разрываюсь, каждая минута на счету. Нету времени Брехуну мне умыться, некогда бедняге мне побриться, в зеркало неделю не гляделся, не припомню, обедал или нет. Ой, как нужен мне хороший работничек... Вот какое к тебе предложение: ты отдай мне увальня-Топтыгина, уступи мужика косопалого – работёнка срочная имеется, будто шуба, по его плечам. Если в просьбе моей не откажешь, бабой мнительной да жадной не окажешься, шапку долларов тебе пожалуйю и соседку окаянную уйму. Так что зря ты, душенька, расплакалась. Ни к чему теперь тебе печалиться. Все пойдёт по-новому, по-гладкому, скоро сказочка твоя поправится... Если зародил в тебе доверие, если угадал твои несчастья, утирай-ка слёзы. На салфеточку. Шли Топтыгина ко мне в помощники».

И случаются же чудеса в Москве! Чем не чудо, что такая женщина, больно уж по жизни недоверчивая, очень уж с людьми-то осторожная, слишком с незнакомцами опасливая, вдруг прониклась к Брехуну доверием, обрела к нему расположение, убедила муженька-Топтыгина, что работы лучше и не сыщется. А подробности умолчала.

Одним словом, не по своему желанию, а по суматошной бабьей прихоти угодил Топтыгин в собачью жизнь. Испытания на него навалились. Глаз да глаз за ним наблюдал. За усердие ему полагались обед, газетка, тараторка в радио и обещался «в очень нескором будущем» мобильный. А вообще-то говоря, поглотив курган гречневой каши, Топтыгин неделю сыт

по горло, на киоски с курами гриль не глядит, от магазинов бежит бегом, от запаха пирожных-чебуреков зажимает нос. Вот тебе и Дайбог.

Одним махом закинув в нутро крепкий до горечи чай, единственный отныне и вовеки дозволенный ему напиток, Топтыгин решительно утирает рот пятерней. Хлопнув ладонями по коленям, отрывается он от табурета, давая понять, что готов. Ведь всегда проще изобразить лицом и телом охоту работать, чем нехотя тащиться из-под палки, преодолевая лень, стыд и тягу выпить.

Вот Топтыгин уже перед зеркалом, прилаживает расчёской бесцветные прядки на свои места. Только чего это он сжался? Чудно копошится и невпопад осыпает жену кучей бестолковых вопросов про нижнюю соседку и её недавние приобретения. Внезапным участием к соседкиному хозяйству обычно безразличный к таким делам Топтыгин озадачивает даже намётанный ум. Задетая за мозоль, Потаповна вспыхивает и грустнеет, теряя бдительность. Но через минуту она уже опомнилась, наблюдает этот цирк из-под бровей, хмыкает на вопросы, ища подвох.

Под её буравящим взглядом Топтыгин утихает, очень надеясь, что жена проморгает и выпустит его в стареньком пиджачишке, в родных и близких для тела тренировочных штанах. Но Потаповна налетает птицей-орлицей, требуя немедленно переодеться. Немного помолчав, Топтыгин соглашается на всё, понимая: для неё в эти минуты судьба решается, а вблизи судьбы любая баба – чистый керосин, лучше спички к ней не подноси. Без пререканий облачается он из затрапезного в приличный вид. Покорно надевает брюки синтетические, кусачие. Безропотно накидывает, по мнению жены, солидную куртку, в каких ходят все порядочные специалисты, купленную на базаре. Теперь Топтыгин напоминает человека внушительного и готов продвигаться по жизни.

Много на свете разных примет, но не всякая поможет разобраться, кто сегодня в жизни распоряжается: Дайбог или Недайбог. Такие приметы на дороге не валяются и огласке не подлежат. Их каждый под свой рост сооружает, по своим плечам выкраивает. И у Топтыгина своя примета имеется. Иногда ему всё же удаётся заболтать Потаповну до одури, и она, уши развесив, допускает выскользнуть из дому не в жёстких ботинках из каменного кожаменителя, а в старых чоботах-вездеходах, пыльных и жёваных. Которые, как уверен Топтыгин, умрут вместе с ним и понесут сам не знаю куда. В этом и заключается примета, удачный будет день или так, махнём не глядя. Если повезёт Топтыгину выскользнуть из дома в чоботах-вездеходах, можно без натуги отдаться ходу истории, и пойдёт та история как по маслу. Правда, старухи, исклёванные судьбой, поговаривают, что Недайбог и Дайбог бок о бок летают, друг на дружку шипят, вполголоса переругиваются, от этого у каждой приметы обратная сторона имеется. Если даже и повезёт Топтыгину выскользнуть в чоботах-вездеходах, значит, заметив подвох, воспламенится в лифте Потаповна. И весь спуск до первого этажа гореть косолапому заживо в синем пламени супружней ярости.

Чтобы Топтыгин по пути в переулок не свернул и неизвестно куда не побрёл, чтобы косолапый, заблудившись, не заглянул в винный магазин, жена провожает его, деловито помалкивая по дороге. Вовремя пойманный, ковыляет он в новеньких чоботах из каменного кожаменителя, а Потаповна от гордости светится ярче, чем окрестные чахлики-фонари. Так она рада и довольна, что даже не стесняется взять Топтыгина под руку, чинно плывёт рядом, с торжествующим видом поглядывая на худеньких прохожих, грозя зашибить неохватными телесами любого, кто неловко подвернется на пути.

Каменные ботинки беспощадно вгрызаются в Топтыгина. Он мужественно прихрамывает на обе ноги. С каждым шагом чувствует зарождающиеся мозоли. Из всех сил старается сохранять на лице сосредоточенное выражение, какое подобает специалисту, идущему под руку с женой. Тем временем печаль и отчаяние жалят его душу, ведь он уверен: Недай-

бог опять захватил жизнь. Топтыгина не проведёшь, знает наперёд: сдерживая слёзы боли, ковыляет в дрянной день, где натрёт ещё немало мозолей на сердце и на душе. Потому что примета: с чего песня начинается, о том и поёт.

К метро Топтыгины подходят ближе к вечеру, когда толпы добросовестных работников возвращаются восвояси, по домам. Жена берёт в свои руки установку Топтыгина: чтобы он занял место не близко, не далеко от затуманенных дверей, выводящих народ из подземелья на воздух. Топтыгин сам размещается грудью к толпе, это значит, что он будет стоять как вкопанный в асфальт памятник самому себе и проведённому с пользой дню своей биографии. Мало что в мире способно сдвинуть Топтыгина с места до девяти вечера, а ведь и тут не обошлось без участия жены. Потому что никогда не знаешь, вернулась она домой или бродит где-то неподалеку. Иногда она стоит возле овощного киоска, скрывшись за очередью покупательниц. Или наблюдает старания Топтыгина, притаившись на остановке. Бывало, сердце подсказывает, что Потаповна давным-давно дома, общается по душам с телевизором. Случалось, жара, пот льёт градом, всей душой ощущаешь, как жена на кухне поблёскивает медным зубом. Но только приблизится развязной походочкой, как в море лодочка, кто-нибудь из бывших собутыльников, эта самая жена тут как тут возникает из-под земли! Живая и румяная, громко даёт понять, что она думает и как считает. Тогда не только забулдыги, но и все, кто оказался вблизи землетрясения, поскорей несутся наутёк. А Топтыгин стоит ссутуленной Ё под точками, одиноким памятником под снос посреди площади, сосредоточенно перебирает шнурок куртки, но судьбе не перечит.

Случалось не раз, не два: накинутся на город фиалковые сумерки, ветерок засунет прохладную руку за шиворот рубашки. Затоскует Топтыгин, захочется ему увидеть чьё-нибудь знакомое лицо, на худой конец, хоть бы и жены, тут-то её и не дождёшься: как назло, именно в этот час скалится она в телефон на соседкины покупки и разочарованно обводит глазами свою скромную прихожую. А если уж толкнул какой-нибудь конь в браслете, упала под ноги шапка, от отчаяния захотелось глотнуть хотя бы чайку, тем более нет Потаповны рядом, она уж часа два как в полном безразличии разлеглась на диване, и не поймёшь: спит, померла или пялится в телевизор.

Иногда пройдёт среди бабок с букетами шепоток, что поблизости орудует полицейский. Эти пущенные по ветру страхи накидываются на Топтыгина, сгоняют с места. Бродит он вокруг метро, жалея, что жены не оказалось рядом. Не у кого спросить совета и получить уверенность в сегодняшнем дне. Уж опасность давно миновала, а Топтыгин, страдая отсутствием духа, всё ошивается за фанерными задами киосков, слоняется без дела мимо тёмных кустов. В такие минуты он боится одного на свете: что Потаповна, нагрянув с проверкой, не застанет его где положено. Он представляет, как дрогнет её лицо, как мучные щёчки разочарованно и горько опадут и увянут. Он видит её, бледную и потерянную, в третий раз оббегающую вокруг метро. Он вздыхает от решительных и едких допросов, которые будут учинены торговкам, Творожичу – продавцу лотерейных билетов и Косому – мальцу-лоточнику с шоколадками. Потом она поплетётся домой, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, признавая со слезами, что опять проиграно соревнование с нижней. Топтыгин всё это видит как наяву, но ничего не может с собой поделать. Весь остаток недоброго дня он болтается по улицам, боясь, как бы ноги невзначай не принесли его к пивному ларьку.

Так что, близко жена или далеко, косолапый всегда ощущает её испытующий взгляд. Каждую минуту чувствуя себя на мушке этого грозного орудия, Топтыгин совершенно теряется. Тут по его ноге обязательно проедет детская коляска или склочная бабёнка прохрипит в ухо, чтобы посторонился, и в придачу отлупцует сумочкой по спине. Совсем смутившись, Топтыгин рассматривает киоск, торговки свитерами, рынок, остановку автобуса. Как бы нечаянно он извлекает из кармана куртки толстенную пачку долларов, перетянутую

резинкой. Неловко скинув резинку, Топтыгин теряет её под ногами. Машинально слюнявит палец, оглядывается, не видала ли этого постыдного проступка жена. Удостоверившись, что нигде поблизости её нет, смело плюёт на палец ещё раз, с шуршанием захватывает верхнюю бумажку и бойко пихает девахе, чьи волосы веются по ветру и пахнут, не поймёшь, смородиной или клеем. Но Топтыгин не реагирует ни на смородину, ни на клей. Главное, что первая бумажка ушла куда подальше. Он дерзко и хитровато плюёт на палец ещё раз, отделяет следующий доллар и пихает его старой кляче в красной лаковой куртке и сиреневых портах. Кляча отстраняет руку Топтыгина, угрожающе отпихивает его с дороги и пробегает мимо, царапнув по бедру не то колуном, не то рубанком. От боли и ярости в Топтыгине просыпается неукротимый деятель, он больше не рассматривает ни лица, ни тряпки, а с гранитным лицом героя труда пихает направо и налево новенькие доллары.

Семь потов катятся по спине Топтыгина, каменные ботинки терзают сбитые пятки его, синтетические штаны жалят за живое, ветер налетает и студит уши, где-то поблизости бродит в толпе неброский полицейский, псы дворовые вертятся под ногами, зимцерлы хихикают за спиной, киоск пирожков отравляет ум мясным духом. Всё ополчилось против Топтыгина, ничто на земле не хочет облегчить его участь и хоть как-то помочь. Только на себя надеется он, а на судьбу не дуется, потому что сроду кроткий, и это прибавляет ему сил. Работа вскипает: знай поплёвывай на палец, выхватывай верхнюю бумажку да втюхивай прямо в грудь. Но если грудь бабья, лучше не прикасайся, а то шум подымется, нагрубят и сгонят.

В азарте он забывает, что положено выдавать доллары избирательно, что надо просеивать толпу решетом мозгов, точно определяя, кому эти доллары могли бы пригодиться по назначению, а не как закладка в книжку или игрушка для малого дитяти. Нет бы соколом парить над толпой, цепко выхватывая подходящую для доллара дуру, так ведь Топтыгин стоит, вжав голову в плечи, и пихает кому придётся. Иногда его рука с бумажкой прямо-таки летит навстречу толпе, а бывает, что подолгу тупо тычет долларом в пустоту. Порой Топтыгин невежливо мнёт доллар, запихивая его в чей-то карман. Но чаще всего он так нерешительно и беспомощно протягивает доллар, что не принять молчаливый дар нет возможности. Неужели, сомневается Топтыгин, будь на его месте другой специалист, хотя бы муж соседки снизу, стал бы он высматривать да выгадывать? Как же он этих дур из толпы бегущей умудрился бы вычислить? Чего на них особенного должно быть надето-обуто? В глазах огонёк должен быть, уголёк, сажа или что?

Зимцерлы целый вечер без дела кружат поблизости, чистят разноцветные пёрышки, сверкают зяблыми ножками. Иногда они предлагают папаше Топтыгину прикурить, массируют ему лопатки, игриво хватают за бока когтями и кладут растрёпанные клейкие головки на его сутулые плечи. Облепленный зимцерлами, Топтыгин робеет, но не забывает всучить каждой по доллару, а иной, расхрабрившись, засовывает два прямо в вырез кофточки. Они натужно смеются, выпячивая цыплячьи грудки, целуют колючие щёки Топтыгина большими тёплыми губами. Потом какую-нибудь из них подзывают в машину с тёмными стёклами. Они миглом забывают обо всём на свете, громко галдят, спеша как расчётливые и жестокие специалистки. Оставшиеся на холоде безработные зимцерлы будут жаться к Топтыгину. Наохленные, озябшие, как всегда, похнычут ему на ухо про загубленную жизнь. И Недайбог будет кружить над их головами, опускаясь все ниже, беспощадно бичуя вороньими крыльями по впалым щекам.

Пачка долларов, когда её надо скорей раздать, худеет медленно, словно нечистая сила подкладывает новые и новые купюры. Есть у Топтыгина на уме ещё примета. Ни в какой день, пока не отдашь всё до последнего, строго-настрого нельзя оборачиваться. Пусть

там лает сирена, колотят знакомую зимцерлу дубинками или снова отнимают лотерейные билеты у Творожича. Даже если кто оттолкнёт Косого-лоточника и рассыплет по земле его шоколадки, ни за что не надо оглядываться. А если всё же обернётся Топтыгин, то увидит площадь с автобусами, неприбранную конюшню-остановку, сверкающие хоромы торговых центров, всё устеленное листопадом брошенных долларов. Тут ещё ветер, дразня, закружит в вихре несколько ненужных бумажек. Такое зрелище не способен вынести даже человек, высеченный из столетнего дуба, а что делать Топтыгину, выструганному наспех перочинным ножичком из ломкой берёзовой ветки? Оглянешься, заметишь, как печатают по твоему труду подошвы ботинок, как сапожки дырявят щёку твоего доллара гвоздём каблука, и такое угрызение сожмёт грудь, что руки мигом обернутся плетью, выронят остаток пачки наземь, ноги понесут ватную голову через темень на свет ближайшего винного магазина. А магазины, они же на каждом шагу. Магазины, они же все винные, так что недолго придётся разыскивать, сразу окажешься в дверях к Змею о семи головах, на пороге пропасти. Предвидя, что косолапый однажды оглянется, Потаповна изымает у него всё до копейки. А Топтыгин? Ничего, выворачивает карманы и на судьбу не в обиде. Потому что кроткий с рождения.

Невдомёк простодушной Потаповне, что заглядывает в жизнь Топтыгина Дайбог, случаются и на его улице счастливые дни. Небритый, отбивает он у метро чечётку морщинистыми чоботами-вездеходами, и неведомо откуда вырастает отрок телосложения богатырского, мнуций под мышкой вертлявую, полуодетую паляндру. Появление Ивана Загуляева заменяет напёрсток сурицы в дождливый день. Пожав трепещущую от восторга руку, Загуляев с ласковой ухмылкой бубнит:

– Привет, Фазер. Долларов отсыпь или как, – позволяя задаром вдохнуть задиристого табачного дыма.

Когда Загуляев подрулил впервые, а случилось это в мае месяце, Топтыгин хоть и работал третий день от роду, не растерялся и с видом бывалого специалиста подметил:

– Я не Фазан, а эта пустяковина тебе на кой?

С лету сообразил косолапый: «Вот оно, подбросил Дайбог добрый час. Э-э-эх!.. Надо из тени выбираться, поскорей себя с положительной стороны проявлять».

Выводя сигаретой в воздухе витиеватые узоры, выпуская навстречу кудлатым тучам голубой дым, Загуляев шептал:

– Доллары будем лепить на стены рядами...

– Не наберёшь, – прикинувшись знатоком, подхватил Топтыгин.

– Рядами и не обязательно, я тут подумал, – рука Загуляева продолжала рисовать, за сигаретой веялись пушистые завитки, – одна зелень будет сильно пестрить, с ума сойти можно. Лучше лепить заплатками и мазать накат... – так объявил Загуляев и премудрыми речами накрепко очаровал Топтыгина.

Выбрался косолапый из тени на свет. Вытряхнул из головы напыщенность, необходимую для работы. Почувствовал себя Топтыгин впервые в жизни причастным к славным делам и аж засветился от полезного знакомства: «Малец, видно, знатный маляр», – предположил он. Доллары без промедления упали в рюкзак Загуляева, а Топтыгин почувствовал: в правую руку, прямо в ладонь, легли четыре бумажки, по десять рублей каждая.

– Налеплю на пробу, а там ещё загляну. Будь! – веско командовал Загуляев и направлялся к затуманенным дверям метро. А Топтыгин оберегал его взглядом и восхищался, как же этот человек уверенно и бодро ходит по земле.

Об угрозе появления жены Топтыгин в тот час совсем забыл. И о том, как Потаповна умеет голосить, он не помнил. Опустив руки, стоял посреди площади. Отдаляясь от своей жалкой сказочки, рвался проводить Загуляева в те таинственные края, где этот человек живет и трудится под солнечным небом, среди порядочных людей, с одной пятницей на неделе. Но

жена в тот день так и не появлялась. Это было даже тревожно, веяло безнаказанностью от такого её упущения. У чуткой женщины будто напрочь отшибло нюх. И впредь никогда её не бывало поблизости во время тихих появлений Загуляева. В этом состояла удивительная странность Загуляева. В этом заключалась удача Топтыгина. Одна из редких удач его жизни.

Но вот потерялся из виду Иван Загуляев, уехал в дальние края своей занятой биографии. А Топтыгин остался на площади без дела. Опустившись с небес везения обратно к седой скорбящей земле, он находил себя на земле сбитым с толку и начинал беспокоиться, куда девать два часа свободного времени, куда спихнуть четыре бумажки по десять рублей каждая, что так жгли его ладонь. Не на шутку пугался Топтыгин навалившейся на него удачи, лишних денег боялся как огня: им только дай разгуляться – незаметно приведут в винный отдел.

Будь на то воля Топтыгина, он бы упрятал вместе с деньгами руки в карманы, сжался потуже, чтобы ветер не воровал тепло, и понёсся рысцой с осеннего рябинового холода да в родную избу. Ведь там, у домашнего очага, всегда найдешь, как два часа лишнего времени с пользой убить. Но не прятал Топтыгин деньги вместе с руками в карманы, не бежал молодцом по асфальтовой стёжке к дому, стоял он неподвижно, как рекламный щит, заслоняя работникам дорогу к остановке. И по его серому мятому лицу пробегали мрачные тени, словно Недайбог задумал показать себя, как в кинофильме, и плясал на морщинистом экране топтыгинского лба, на впалых лоскутах его щёк, на косых кольях скул, на белёсой вобле рта, в мутных лужицах глаз.

«Эх, осенний рябиновый ветер. Ты не стесняйся, хлопай сильнее по щекам жёлтыми ладошками кленовых листьев. Эх, дымные столичные небеса, вы темнейте да наливайтесь страшным свинцом. Капли, простудный дождичек, на неприкрытую голову, осыпай всхлипами куртку с базара. Эх, люди добрые, люди занятые! Вы спешите наглей, толкайте сильнее, бейте кулаками в грудь, всё равно никуда я с места не сдвинусь, не пойду греться в тёплую избу», – шептал Топтыгин, но не потому, что был от рождения дурак, а потому, что имел причины так размышлять. Уж ему-то, как никому другому, хорошо известно: на пороге дома родного, дома теплого, о двух изолированных комнатах, где имеется также ванна, в которой подгибаешь ноги, чтобы поместиться, и скошенный набок, будто в раздумье, толчок, – на пороге этого дома, а другого не предвидится, ожидает Топтыгина изо дня в день досмотр. Куртка его и карманы брюк подлежат пристальной проверке, внешний облик пядь за пядью просеивается, поведение находится под строжайшим надзором, остаток дня в глазах косолапого разыскиваются утаённые закутки. А что будет, объявись он на два часа раньше? Встретит его на пороге не жена, а птица-орлица. Дыхнуть заставит, в зрачок заглянет, душу вывернет наизнанку своим недоверием. А наизнанку душе боязно, дует и щиплет, когда чувства напоказ торчат. Посадит жена Топтыгина напротив, упрётся колом взгляда в глаза и начнёт допрос: в чём дело, по какому случаю рано вернулся. Станешь объяснять, каким образом деньги оканные улеглись в ладонь. В такие минуты обматывает Недайбог паутиной мозги. Запутаться, заврёшься, совсем утонешь в глазах Потаповны, за это она поймёт всё неправильно, рассердится и начнёт резать правдой по живому.

Поэтому никуда не уходил Топтыгин. Маячил до позднего вечера возле метро. Шатало его от нерешительности из стороны в сторону. Бродил он, неприкаянный, вызывая опасение у порядочных людей, вырвавшихся из перехода на воздух. Немного опомнившись от смятения, сметал Топтыгин в горсть остатки мужества, отгонял Недайбога и плевал ему вслед. Победив отсутствие духа, он незаметно подбирался поближе к Творожичу, молчал и внимательно вглядывался во взмахи туманных дверей метро, делая вид, что кого-то оттуда ожидает.

Творожич жевал губу под лохматыми усами и разглядывал нечто, вертящееся перед ним в воздухе. Это была не запоздалая осенняя муха и не крошечный осиновый лист, а разли-

чимая лишь вооруженным глазом Творожича прозрачная и холодная баба, чья кожа – серые тучи и высокая мятная голубизна. Баба знала своё дело, она вытворяла разные выкрутасы перед онемевшим почитателем: крутилась на шесте, плясала и билась в истерику. Творожич не мог наглядеться, но на зов не шёл. Старался скрыть, что околдован, но любовался во все глаза. Топтыгин тоже искал в воздухе сладостное видение, норовил разделить с приятелем восторги, но ничего не находил, кроме звящего ветра с редкими капризными каплями дождя. Обделенный утешающим видением, Топтыгин делал вид, что кого-то ждёт, и так увлекался, что начинал по-настоящему напряжённо щуриться навстречу толпе, зачем-то нетерпеливо перелистывая чужие пальто и лица.

Даже степенные люди улавливали, что Творожич от макушки до пят увлечён неведомым и недоступным. За это многие, пробегая мимо, Творожича уважали, другие его с первого взгляда жалели, а находились и такие, которые побаивались и презирали его на ходу. Спозаранку, свежим утречком, в обеденный перерыв, вечером, когда небеса затягиваются сливовой поволокой, ни один человек, будь он специалист или даже учёный, не вторгался в любованье Творожича, не нарушал блаженного забытья. И стоял себе Творожич чуть с краешка, маршировал на месте, согревая озябшие ноги, поскрипывал тесной кожаной курткой. Казалось, он и на свет родился в этой коричневой свиной броне. Иногда для разнообразия рабочего дня он тихонько напевал по-матросски, крутил в раздумье ус, и удивлённая видением бровь его плыла всё выше, к самой середке лба. В другой раз он покачивался, выпятив бочку пуза, в которую упирался лоток с разноцветными лотерейными билетиками. В лоток Творожич не глядел, от пестроты билетиков начинал крутиться в глазах рой разноцветных неугомонных мушек – и летал кругами до самой ночи, пока во сне не загубишь их всех до единой...

Так стояли они рядом долго, ничем не стесняя друг друга. Творожич догадывался о присутствии товарища только после того, как соскучившийся по доброму слову Топтыгин орал ему в красное, обветренное ухо: «Мы тут стоим, а там вон люди в самолёте едят...» Творожич вздрагивал испуганной птицей и нехотя отрывался от видения. Обеспокоенный, он крутил головой, стараясь отыскать источник голоса и раскусить, по делу человек рассуждает или льёт из пустого в порожнее. Чтобы успокоить растерянного Творожича и оборотить его к себе лицом, ко всему остальному городу, чем хочешь, всё равно, Топтыгин проныжковенно прибавлял: «А к ремонту часов тоже ни одна дура за целый вечер не зашла, я смотрел». Найдя Топтыгина и узнав его, Творожич с облегчением здоровался: «Ежом тебя мыть». Так между товарищами устанавливалось согласие, но не взаимное: Топтыгин юлил и подмасливал, а Творожич снисходительно пыхтел в усы, поправлял толстыми пальцами лямку лотка и напыщенно сдувал невидимую пыль с билетов.

Широкая фигура Творожича прикрывает от лютого ветра, добродушное лицо его заряжает радостью в ненастный день, чёрные глаза Творожича смотрят вглубь, но не грубо, а ласково. Молчание у Творожича бархатное, так и тянет, будто в сундук, сказки в его молчание укладывать. Осенний тополь сухими листьями осыпает землю парков и скверов, а Топтыгин усыплял Творожича началами сказок, но что дальше – утаивал: «Раньше люди запивали от худой жизни. А теперь от хорошей тянут тоники на каждом шагу», или «Очень не терпелось одной молодой бабе вставить в зубы рубины», а ещё: «Жил да был мужик. И вздумалось ему открыть книжный киоск».

У Творожича дом – четыре стены нетопленные, без ковров, без портретов, а посреди – пустота и гуляют сквозняки. Две жены было у Творожича и много других баб, дети его рассыпаны по Среднерусской равнине, всем им Творожич шлёт деньги. Мог бы Творожич работать грузчиком, звали его продавцом в овощной ларёк, просили караулить школу по вечерам, предлагали даже стадион подметать. Никуда не сдвинулся Творожич от метро, начал на повышение, презрел прибавление доходов, а всё ради выкрутасов бабы из воздуха, ради

её немых песен да неугомонных танцев. По всей видимости, Творожич ещё что-то знал, но помалкивал и задумчиво кивал на неоконченные сказки.

Околдовав приятеля обаянием, войдя в доверие, Топтыгин украдкой косился на лоток и, придав голосу безразличия, спрашивал: «А бывают билеты, чтобы приносили выигрыш, или так, пустышки одни?» Вместо ответа Творожич оборачивался лотком к Топтыгину, а ко всему остальному миру – задом, ничего не говорил и моргал, когда дождь плевал ему в глаза. Тут Топтыгин хорошенько озирался, выясняя, не видать ли поблизости жены. Потом внимательно глядел на бабок с лифчиками и свитерами – не следят ли они за ним, не перемалывают ли за спиной ему косточки. Выхватывал из кармана четыре мятые бумажки и тихонько швырял Творожичу в лоток, намекая: «Вот я и подумал, надо проверить, пустышки там или всё же что-то есть». Творожич, не спеша, разглаживал десятки, укладывал их одну на другую, перегибал пополам и, скрипя курткой, прятал в карман брюк.

«А ну, дай глянуть, что у тебя за ассортимент», – нараспев выдавливал Топтыгин, перед тем как окончательно потерять человеческий облик. В следующий миг брови его превращались в шкурку и хвост старенького хоря, глаза мельчали до мелкоты двух блестящих испуганных бусин, кожа приобретала цвет пыльного асфальта, щетина становилась дыбом, а волосы, позабыв о расчёске, размётывались, как трава, по которой всю ночь гуляла возлюбленная пара. Дикое, устрашающее зрелище представлял он собой, совершенно не внушал доверия и приязни, обращая окружающих в бегство.

Вот, взглядевшись в глубь лотка, он уже заносит дрожащую руку над пёстрыми цветиками полевыми, билетиками лотерейными. Не рука дрожит – древние страхи выползают из сердца Топтыгина. Ненасытная жажда хоть рюмочку воем рвётся из печени. Не пальцы скрючены перед броском – угрызения и смятения сочатся наружу из груди его. А всякие потаённые горечи просыпаются и мешают поскорее выхватить билет с выигрышем.

«Ой, косит глаз, зачем-то бегают, рыщат среди курток и пальто линиялый плащик Потаповны. Ой, хрипит сердце полоумное, вместо того чтобы звать Дайбога, опасается, куда девать выигрыш. Ой, скулит душа, врёт душа, что безразличная, рвётся на свободу, а освободиться робеет. Ой, подводят лёгкие, хрипит в трахее вековой табачище, вырываются изо рта хрипы недобрые, вздохи гнетущие. Ой, тяжелеет рука, хватает косо, неласково, и не то, куда глаза глядят, и не то, чего сердце просит».

Топтыгина, выловившего из лотка три лотерейных билета, не узнала бы и родная проныцательная жена. Не узнала бы и прошла мимо, волнуясь, «куда же это моё горе делся, ой, недоглядела, ой, опять понесло косолапого». Творожич воодушевлённого товарища тоже не узнавал и на всякий случай пятился к тусклому фонарю, словно надеялся билеты, как ростки огурцов, под искусственным светилом спасти.

Фольгу с билетов счищать Топтыгин очень любил. Он сдирал её нетерпеливо, копеечкой, если валялась где-нибудь поблизости бесхозной железкой, или ногтем, какой подлиннее. Ту фольгу лепил матёрый специалист, потому что сходила она неохотно, сыпалась на куртку шелухой, накрепко сидела, проклятая, нервировала донельзя. Раз ногтем проведет Топтыгин, два царапнет, на третий вдруг возникнет из-под фольги цифра 100, снежинка или козявка, без очков не видать, чего напоминает. Обнадёженный Топтыгин тут же светлеет умом, вспоминает, что в кармане завалился ключ от входной двери, от нижнего замка, к верхнему жена ключей не дает, бережёт на чёрный день, чтобы закрыться и не впускать неприятеля-мужа из-за какой-нибудь большой обиды или за многие обиды, когда накопятся все вместе. Ключом фольгу счищать одно удовольствие. Легко поддается серебро, весело идёт дело, вот уже третий билет расчищен, выглянуло из-под фольги голубое поле, ветер по тому полю гуляет, а оно ледяное и пустое. Стараясь не падать духом, но уже опадая лицом и фигурой, косолапый счищает все заметные для глаза точки и крошечные лохмотья серебра.

Между тем незаметно, крадучись, с холодком, с дымком выползает из метро ночь. Выбирается из берлоги, где почивала день-деньской, веет из подвальных кладовых, из подземных спаленок. Вот прикинулась ночь старушкой в синем платочке, затерялась среди спешащих из контор работничков. Спряталась ночь за спины уставших тружеников, пробирается среди отупевших работяг, трясётся в вагоне с неутомимыми трудоголиками и поникшими трудолюбями. Крадётся ночь по переходу, подымается по эскалатору. Катится под ногами чёрным клубочком, под каблуками ползёт сизым ветром, трётся о колготы паляндра чёрным котёнком, девчушкой в фиолетовом сарафане выбегает из стеклянных дверей. Вырывается ночь из метро прямо в небо. Созревает и клонится небо, как слива. Возле метро грядка фонарей, и все – пустоцвет.

«Эх, Творожич, обмотал ты мою голову изолентой, ног не чувствую, руки теряю... А все потому, что билеты твои поддельные. Ничего-то я через тебя не приобрёл. Выходит, надуваешь ты честного человека. Отуманиваешь выигрышем и оставляешь без рук, без ног, без топорёнка, с ветрилом в голове» – так бормотал Топтыгин, но не злобно, между тем возвращаясь обратно в человеческий облик. Волосы поправлял, щеками бледнел, ртом грустнел, взглядом опустелым ждал, что ответит Творожич. Молчал Творожич, всем видом намекая, что знает, но ничего не выболтает, что ведаёт, но не расколется. Однако взгляд у Творожича бесхитростный, глаза Творожича вранью не обучены. «Эх, – говорили глаза Творожича. – Не билеты мои неладные, а ты, Топтыгин, не с той ноги живёшь. Не билеты мои фантики, а ты без брода по миру носишься. Сроду не подделывал я билетов, и не все они пустышки. Это у тебя нет под ногами путеводной нитки, ни шерстяной, ни шелковой. Без дороги бредёшь, Топтыгин, оттого удача на тебя сердится» – так говорили глаза Творожича и светились в сумерках мягко и ласково.

Не хотел Топтыгин прислушаться к искреннему сиянию глаз приятеля. Не извлекал урока, поскорей отворачивался, чтобы не нагрубить, и направлялся, не глядя под ноги, в сторону дома. Избегая стёжку людную, пробирался он дворами да скверами. Месил глину кислую, грязь осеннюю, мял кленовые листья, топтал липовые листья, а в темноте листвы не видно, только свежесть от неё заплаканная. Дышал Топтыгин порывисто, захлёбывался сыростью ночной и спешил, словно за ним гнались. Сам весь насупился, по сторонам не глядел, и ветки хлестали его лицо. «Ишь, намекает, что мать меня вперёд ногами родила. Вот ведь, близкий человек, а со всеми хором, в толпе мыслит. Нет бы подбодрить, а он туда же, сгубить тоской норовит», – ворчал Топтыгин себе под нос, убегая от обидчика. Так заканчивались для него все без исключения счастливые дни.

А после обычного бестолкового дня, когда не наведывался Загуляев и не удавалось за целый вечер ни с кем словечком переброситься, улыбочкой перекинуться, возвращался Топтыгин домой по асфальтовой стежке, среди людей. Был он в такие вечера глух и нем, нёс под шапкой бетонное спокойствие. Чахлые фонари выхватывали из сумерек серый гранит лица его, только челюсть стучала от холода, а в глазах тосковала неутолённая жажда жизни, жажда исполинская, простому человеку непосильная, бедному труженику недозволительная.

Как-то раз в июньский день, будничный, примечательными событиями не отмеченный, явился Топтыгин домой без отягчающих, усталый, растрёпанный, голодный, но на судьбу всё равно не обиженный. Он звонок дверной, словно клопа, придавил. И прихлопнул на всякий случай ещё разок. После целого дня в каменных чоботах каждая минута губительна для пят. Маялся Топтыгин, ног не чувствуя, но никто ему отворять не спешил. Проник он тогда в дом тихонько, с помощью ключа, но всё равно осталось его появление незамеченным, никакого досмотра ему не учинили. Только блуждала по комнатам шаровой молнией незнакомая тягостная тишина. Скинул он побыстрей кусачие чоботы, вздохнул с облегчением, будто каторжник, избавленный от кандалов. И отправился на разведку.

В спальне малой было темно и тихо. В зале телевизор молчал, а в незанавешенное окно, будто в зеркало, гляделась ночь, косы чёрные расплетая. Слегка встревоженный, как любой, кто прямо в глаза ночи глянул, побрёл Топтыгин дальше, в тоске позабыв в уборную завернуть. А всё потому, что дверь на кухню была прикрыта, под ней полоска света мигала. Первая догадка ураганом налетела на Топтыгина. Словно молодая гибкая пшеница, пали ниц пред той догадкой все другие. Заподозрил, что пришли к жене давно обещанные, те недобрые, которые «найму, изведут». Но ведь не было отягчающих, в проступках не уличён – выходит, правосудие ни к чему, расправляться не за что, пусть она как хочет, только надо по справедливости! Отлегло маленько от сердца, улетел ураган на лестничную клетку другого дурака искать. Выходило, первой затесалась ложная тревога. Вслед за ней закралось подозрение новое, совершенная для Топтыгина диковина. Крутил он это подозрение, вертел, а что дальше – понятия не имел. Словно выкопал по осени вместо картошки ржавую кружку.

«Да неужто Антонина моя Потаповна хахаля завела? Они, значит, в любовь играют, а Топтыгин – горбаться, ишачь?» Рванул ручку двери, кинулся к ним туда, на всё готовый. Ослепил яркий свет милой кухоньки. И опешил Топтыгин-муж от увиденного. За столом, покрытым клетчатой клеенкой, за родным и близким «нашим» столом, который этими вот руками чинил, сидели, головы повесив, жена и соседка снизу. Обе лохматые, а их сбивчивое воркование, шею лебединую вытянув, озаряла бутылка водки, наполовину порожняя.

Проскулила дверь скрипучая и Топтыгина вторжение выдала. Встрепенулись бабы, крыльями захлопали, словно совы невысокого полета. Кричали наперегонки две вопленицы, стонали и выли в оба уха. Оглушили Топтыгина охами-вздохами, совершенно сбили с толку утомлённого человека. «Эх, – всхлипнулось ему, – от этого гама предчувствие отказало: не раскусишь, к добру или не к добру орут. Вроде дом цел, значит, не сгорел. Вроде жена цела, значит, не померла. А раз обе они за водкой сидели, значит, не поругались, не заболели». Разгадал Топтыгин только одно: что остался без ужина, о дальнейших последствиях пока не сообразил. Продолжался концерт на два голоса. Горючими слезами закапанный, дыханием водочки окутанный, старался Топтыгин переводить с бабьего языка на человеческий, только мало чего из их воя уразумел. А взглядом всё к бутылке тянулся, аж поперхнулся, пчёлкой вокруг горлышка кружил, аж затужил, бочком-волчком подбирался ближе и ближе: эх, хоть бы чуток нюхнуть и хлебушек вон в ту капельку обмакнуть!..

Дёрнула соседка Топтыгина за рукав, тыкала локтем в бок, внимания требуя, наступала пяткой на ногу, короче говоря, не дала помечтать. Ну, пришлось её речам внимать: «Ой, недоглядели мы за Липочкой! И зачем мы ей купили ролики? Уж три дня, как потерялась Липочка, погулять ушла и не вернулась. Я три раза обегала улицы и на весь район родную кликала. Муж подружек дочкиных допрашивал, только разве из паляндра что вытянешь? А потом приехала полиция, две слюнявых дрепы с хриплой рацией. Ничего не знала та полиция, только пуще сердце истрепала. С лёту стали об приметах спрашивать, и от их вопросов стало страшно нам. А как начали про рост выведывать да какие где у дочки родинки, тут от горя разум потеряли мы, уж не знаем, на что надеяться. Заплутала-заблудилась Липочка. В доме пусто, в доме холод – нет её. И зачем мы покупали коврики, тумбочки да шкафчики икеевы? Для кого мы брали спальный гарнитур: книжечка-диван, два кресла с пуфиком? Где ты, с кем ты наша радость, Липочка, для кого ж ещё я шубу справила? Разве матери нужны комоды с тряпками? Для себя мы, что ль, за шкаф-то прятали?»

Обжигая Топтыгина горючей слезой, вскрикивала соседка, но волосы на себе не рвала – берегла, а больше на рубашке чужой зло срывала, аж рукав затрещал. Вскоре, от крика охрипнув, примолкла она и смущённо потянулась к рюмке – горло ополоснуть. А пока соседка, сутулясь да куксясь, чужую свинину жадно вилкой накалывала, пробудилась Потаповна, заохала, песню горькую подхватила: «Ты скажи, Топтыгин, искренне. Ты прямой, к тебе доверие есть, – никогда мы им не завидовали. И успехам их семьи только радовались. Как же я

в их силы верила! Ожидала, что со дня на день машину приобретут... Любовались мы их прихожей, кухней чистенькой, новой мебелью... Ах, какие у них кресла мягкие, так бы и утопла навсегда... Как в театр, я к ним в гости шла: губы красила, щёки пудрила... От тепла их дома грелась, забывая, что жена мужа-увальня... Не могла я отпугнуть их счастье... Глаз у меня не злой и нос – без горбинки... Я от всей души на них равнялась, а равняться на добрых людей не возбраняется... Ты скажи ей, Топтыгин, к тебе доверие есть. Заподозрила она меня, говорит, что это я привела им несчастье в дом... Как же это так, разве я могу».

Тут очнулся в Топтыгине ум-разум и на полную мощь заработал. Понял: крепко соседку Недайбог прижал, самое дорогое забрал. От такой-то близости Недайбога сразу как-то тревожно становится, только позже облегченно вздыхаешь: уж со всеми сразу он не справится, пронесло хоть на сегодня меня. Оглядел он удручённую женщину, что над рюмкой тихонько плакала да слезинками в водку капала, и соседки былой не узнал. Не сверкает она зубом золотым, глазками внимательными по углам не стреляет, голос звонкий осип, обвислые щёчки зарёваны, бантик губ в кровь искусан. Словно Недайбог из соседки силу выпил, намял бока, поддал пинка и полетел дальше людей истязать. Ох уж этот Недайбог, как бы его унять? Нет былой соседки и не предвидится, не нужны ей теперь мягкие кресла и мобильный телефон, кухонный комбайн, и стиральный агрегат на семейство из пяти человек ей теперь ни к чему. «Значит, – заныло сердце Топтыгина, – вничью закончилась наша олимпиада приобретения удобств». Хлопал он глазами, но не как зритель, на закрытии олимпиады плачущий. Бабьему стону внимая, будто с поля удалённый игрок, задним умом соображал, что теперь будет, ради чего дальше жить. Уронил Топтыгин голову, но бутылку из поля зрения не выпустил, за её передвижениями по столу втихаря наблюдал. Перелетала бутылка из рук в руки между баб, сверкала кромка водочки радугой, подмигивал оттуда Топтыгину старый друг, Змей о семи головах.

К полуночи поплелась соседка восвояси. Пока Потаповна за ней дверь запирала, Топтыгин к столу кинулся. Хвать, а бутылки-то с лебединой шеей след простыл. Метался он по кухне, но не находил ни на подоконнике, ни в шкафчике, ни в щели между холодильником и плитой. Короче говоря, пропала бутылка в неизвестном направлении. Замер Топтыгин, громом такого открытия поражённый, в волосы вцепившись, почти завыл. В этом состоянии застала его жена. Ой, недобро Топтыгин глянул на неё, укоризненно. Не застыло в его глазах уважение, не слезился обычный затаённый страх. Исподлобья он так крепко её пробуравил, что застыдилась Антонина Потаповна, на табурет с пудовым вздохом опускаясь:

– А ты на меня как на виноватую не гляди... Сколько я трудностей пережила, разве она столько трудностей пережила бы? – проворчала, большим пальцем в сторону двери пырнув. – Ну, может, я им и завидовала, но за дело и без злобы. Ни при чем я, что Липочка пропала. Уж о ней я полслова плохого не думала, – тарахтела Потаповна, как терка электрическая, а сама покраснелась и смутилась прилично. Отчего-то показалось Топтыгину: виновато она горбушку чёрного хлеба в руках вертит, волнуется, аж выступила роса на лбу да на шее. И призадумался он тогда тихонько про себя: «Двадцать лет живёшь вместе, и ведь неизвестно, с кем...» А потом, чуть громче, ему подумалось: «Значит, будем жить и дальше, без перемен».

Трудился Топтыгин дальше и кое-как дожил до того дня, когда дворняги московские от мала до велика по неизвестной команде выбрались из укрытий и отправились пёс знает куда. Вечером из метро хлестал бурный поток разнообразного люда. Топтыгин сначала потонул, захлебнулся в этой мутной реке, но не лёг на дно и не упал лицом в грязь. Он в глаза никому не глядел, сапожки-туфли и всё, что из них растёт, не разглядывал, оставался равнодушным к бабьему духу, не завидовал уютным ботинкам мужиков. Усердно раздавал Топтыгин дол-

лары, почти не замечая под собой чоботов из каменного кождаменителя. За это чоботы из каменного кождаменителя всё злее вгрызались ему в пятки.

Неизвестно откуда, ближе к вечеру, у ларька цветочного возникли две псины. С вызывающим видом уселись под окошком, вытянули шеи, внимательно заглядывали в глаза прохожим, высматривали кого-то вдаль. Топтыгин от их взглядов пристальных увернулся, не дал кому попало прочесть, чем озадачен, с судьбой согласен или нет. Был он убеждён, что один из всего города знает, о чём тоскуют старые дворняги, кого они так натужно сегодня ждут. Знание собачье не придавало бодрости движениям Топтыгина, а путало руку и туманило глаз, – надо было скорей нырнуть в работу и забыться. Легко сказать, знание-то это не из тех, на которые глаза закроешь и уши заткнёшь, премудрости такого рода умеют бочком просочиться человеку в самую сердцевину и напрочь всё там растревожить.

Северный ветер Посвист в полдень ворвался в город и стремительно завоёвывал улицу за улицей. Собачье знание тоже не медлило, бойко овладевало рассудком Топтыгина: улетали на юг стаи беспечных мыслей, ум становился прозрачным, как выстуженные подмосковные небеса. Ветер Посвист, разгоняясь, сновал по городу, трепал вывески и косынки, сердито нащёптывал в уши. И собачье знание тоже удивляло Топтыгина назойливостью, в сравнении с ним любая посторонняя дума бессильно мельчала, будто сдувшийся свадебный шар. Ветер играючи сорвал с Топтыгина шапку, но на этом издевательство не прекратил и яростно трепал куртку, будто намереваясь разодрать её в клочья.

Повернулся Топтыгин боком, чтобы не стрелял холод в грудь, промерзает он ведь насквозь возле метро. Не от радости он пихает доллары кому в лицо, кому в руку. Трудится Топтыгин, а сам знает: скоро придет зима, сыпанёт из правого рукава снег, из левого иней, и надо будет с ней как-то свыкаться. «С женой же сжился, значит, и с зимой поладим», – торопливо бормочет он. А можно ли сладить с зимой, когда только от её близости уши трескаются и отнимаются на ветру пальцы рук. Слезятся глаза Топтыгина, слезятся глаза молчаливых дворняг возле цветочного ларька. Тяжелеет задумчивый взгляд Топтыгина, тонет, как поплавок в тёмном зеркале реки. Теперь он не сомневается: скоро придет зима-прибериша, поравняет день с ночью, плечи припорошит, лица зарумянит, очки затуманит, ветром заледенит. Ой, скоро она нагрянет, тело ослабит, душу выветрит, жизнь с лица да на изнанку вывернет. Может статься, что будет она последняя. Вдруг да ничего по её ледку не успеется, ничего-то по её ветрам не развеется, не исправится и не изменится. А нечаянно все надломится, поостынет, простынет, в постели застынет. И тогда подоспеет, в снегопады одетая, окончательная и беспросветная пёсья темень, вечный покой.

Не стремится Топтыгин применять собачье знание, избегает приложить его к своей биографии. Не хочет припоминать, как, бывало, беззаботно болтался по морозцу разрумяненный, в тоненькой хламиде, с печкой раскалённой в груди. В эту-то зиму участь его решена: останется без обогрева и, как всякий порядочный специалист, будет работать, невзирая на холод.

Вглядываются внимательные псы вдаль: не видать ли зимы? Ожидают, прижав уши: не приехала ли? Понимает Топтыгин собачьи тревоги, поправляет куртку, чтобы ветер поясницу не прошиб, и тоже поглядывает по сторонам. Но никто не знает, с какой стороны зиму ждать, из каких краёв она на этот раз нагрянет, что с собой привезёт. Все догадываются только, что ей дела нет, кто любит морозец, а кто боится холода, не касается её, есть у тебя тёплое пальто, стёганные штаны и ушанка, безразлично ей, если у кого хворь в груди или кашель рваный. Зима ни у кого разрешения не спросит, как вздумает, так и объявится. Вот и сидят дворняги под окошком ларька, заставляя прохожих с опаской пятиться от цветов. Сурово глядят вдаль глубокие глаза, настороженно шевелятся носы, выведывая у ветра, какие новости, какие слухи. Недалеко от них, озябнув, Творожич третий раз надвигает кепку.

Творожич тоже чего-то знает, но, как всегда, молчит, а если и кивнёт по-приятельски, не вычитаешь у него с лица, доволен он или доволен.

Топтыгин правую заледенелую руку в кармане грел, воротник подымал, курточку подтягивал, утаивал от ненасытного Посвиста своё тепло. Всё равно обобрал его ветер до нитки, пробрал до костей. Задумался тогда Топтыгин: «Как же люди вокруг с жизнью ладят? Что за хитрости у них на уме? Какой оберег за пазухой припасён?» Да разве ж такое узнаешь? Не выставлены наружу обереги, глубоко они запрятаны под одеждой, защиты в бельё, за подкладкой хранятся. Далеко в сердце схоронены хитрости, таятся в головах, замаскированы среди барахла мыслишек, как ни выпытывай, не дознаешься. А время идёт, надобно скорей разобраться, надобно разгадать и собственный оберег для зимы соорудить.

Раньше стоял Топтыгин возле метро как памятник неизвестному герою, глядел, сам не зная куда, обдумывал, сам не ведая чего. А теперь не наглядится он по сторонам, бумажки роняет, головой крутит. Но не согреешься чужой-то мудростью, пальцев не чувствует Топтыгин, перебрасывает из одной руки в другую доллары глянцевые, скользкие, холодные. Хранклин-человек на долларе недоволен морщится, щёки у него обветренные, волосы у него спутались, глаза от холода вылезли из орбит, шарфик на нем марлевый, а шапку давно сорвал-унёс ветер Посвист. Но и на холоде московском, рябиновом Хранклин этот умеет себя преподнести. Он губки поджал неласково, он сурово глядит на Топтыгина, как Дайбог, который из жадности никакого подарка не приберёт и учиняет молчаливый допрос. «Ты что это, мужичонка Топтыгин, от труда отлыниваешь? – хрипит Хранклин с доллара прямо-таки голосом жены. – Разве твоя специальность мудрить да задумывать? Ты, давай, делом займись, хоть малую пользу в мир привноси». Не спешит Топтыгин отвечать, от Хранклина отворачивает лицо к мокрому асфальту и заглядывает, что на его спине нарисовано. Первый раз Топтыгин заинтересовался долларом, никогда раньше он стольник зелёный не разглядывал, никогда настоящий, шершавый в руках не крутил. А на задку бумажки глянцевой, оказывается, написано по-нашему. Без очков буковки плывут, слова на волнах пританцовывают, но, если сощуришься, разобрать можно:

Жили они, поживали, добра наживали, а потом захотелось им жить ещё лучше. Присмотрели они себе сказочку попросторнее, поудобнее да побогаче, только вот не знают, как туда перебраться... Лай Лаич Брехун, Собачий царь, встретит желающих на улицах города, снабдит ценным советом, обучит, как участь переменить, и окажет первую помощь. Будни, празднички – круглосуточно. Зовите. Требуйте. Ждите. Объявлюсь незамедлительно.

Толпа с напором хлестала из метро, словно подземная река Неглинка вырвалась из цементного ложа на поверхность. Один людской ручей спешил к рынку, другой – в сторону торгового центра, остальные струились к остановке, просачивались на тёмные улочки, терялись в окрестных дворах. Шли люди из учреждений окраинных, хрустели матерчатыми куртками, скрипели сумками из кожзаменителя, пахли лаками для волос, пудрой для сокрытия прыщей, пеной после бритья, от которой покойник встрепенётся. Плелись людишки непонятно откуда, в ватных хламидах, в шапках-закидайках, пахли напильником, козами и репчатым луком. Ковыляли старухи столетние, сдабривали воздух окрестный пылью из неиграющего патефона и ментоловой мазью. Брили люди от берегов реки Москвы, с намотанными на лица шарфами, в оранжевых портах, в разноцветных лаптях, от них за версту несло куревом и пластмассой. Царапали, цокали, топали каблук об асфальт. Скрипели, хрустели, свистели куртки да пуховики. Шуршали, ёрзали, вжились юбки да штаны.

Вдруг случилось что-то в окружающем мире. Насторожились дворняги у цветочного ларёчка, старуха ахнула неподалеку, колыхнулся воздух. Задумчиво покачиваясь на сквозняке, проплыла перед глазами Топтыгина голубая снежинка. При слабом свете огоньков торгового центра сияла она и искрилась, а за ней следом мерцала другая, кружилась третья. Незаметно соткалось из них целое покрывало, окутало тюлем здание метро и спешащих оттуда людей. И вот, в темноте, оберегаемой фонарями-пустоцветами, выплыли из дверей метро сапожки белые, лайковые. Выплыли, не спеша, две лодки, на них огоньки разноцветные от вывески приплясывали и казались изумрудами, а свет чахликов-фонарей рассыпался золотыми монетами. Из сапожков этих белых, с тонкими каблучками, вырастали ножки в колготах-паутинках.

Приближается к Топтыгину барынька красоты невиданной, вокруг неё выются-кружат снежинки, закутывают красавицу в кружева, прячут личико от завистливых взглядов. Дыхание у Топтыгина перехватило, словно проглотил он гриб для штопки. Мысли его отнялись, током из оголённого провода пришибло разум. Идёт к Топтыгину барынька, вся в белом пуху, в лилейной пыльце, того и гляди, оторвётся она от асфальта, закружится на ветру среди снегопада и полетит над городом. У ней шубейка короткая, но такая пушистая. Топтыгин и названия настоящим мехам не знает. На ней юбочка мохеровая, как котёнок беленький. Так и тянется рука погладить ласково ножки выше острых девичьих колен. В её берет вколота булавка с камешком, не верит Топтыгин глазам, неужто искрит из булавки камень драгоценный, а названия драгоценных камней он все позабывал. Серьги у неё из жемчуга, настоящего или фальшивого, не важно, очень уж хорошо висюльки эти, когда она головку повернёт, дрожат над плечами. Волосы густые, в хвост убраны, падают заледенелым водопадом. На водопаде том сеточкой разместились снежинки. А глаза у неё строгие, как два лесных озера-зеркала, затянутые вдоль берегов ломким ледком. В каждом озере плавает серебряная утка – это автобус подошёл к остановке, и лампочка в кабине водителя сверкает-плещется у неё в зрачках... Позабыл Топтыгин, что женат. Позабыл, что в летах. И ещё многое другое мигом вылетело у него из головы. Замер в изумлении, чоботов кусачих не чувствует. Словно на травке босой стоит. Хлопает Топтыгин глазами, руки уронил, а сам ещё не понял, хочется ему, чтобы барынька подошла, или всё же лучше, если упустит она его из виду, как столб фонаря-пустоцвета.

«И правда, пускай идёт себе дальше, бабочка-невеста, пускай всем на радость сверкает камешек у неё в беретике, а незнакомый мех – развевается по ветру, удивляя встречных мужиков и людей».

Но не думает красавица обходить стороной Топтыгина, прогулочным шажком плывёт прямёхонько в его направлении. Сверкает, как ледок на катке, помада прозрачная, переливается и поблёскивает улыбка в самое сердце. Наблюдает Топтыгин события, едва дыша. Сидит у него на плечах голова пустая, какой бывает утром после Нового года бутыль. Ни одной мысли там не бултыхается. А когда пустота и прозрачность новогодней бутылки устанавливаются у человека внутри, с ним невозможное случается и невероятное происходит.

Подходит к Топтыгину барынька, наклоняет к нему светлую голову. «Не меня ли, – спрашивает, – дядечка, дожидаясь? Не меня ли в снегопаде высматриваешь?» Говорит тихонько, голос у неё приятный, велюровый. Боится Топтыгин рот раскрыть, букву шепнуть, боится запахом от зубов красавицу обидеть, как-нибудь нечаянно её оскорбить. Не хочет Топтыгин объяснять, что стоит он возле метро каждый день, что раздаёт фальшивые доллары с Хранклиным-человеком на одной стороне и Лай Лаичем Брехуном – на обороте. Молчит Топтыгин, а глаза его немоте не обучены, рассказывают глаза, что каждый день он ждал-горевал, каждый день знал: обязательно должен кто-то к нему прийти из затуманенных дверей метро. И не врут глаза Топтыгина, когда признаются: всякое мог он представить, ко мно-

тому привык, но такой встречи не ожидал и мечтать не мог, что под снегопадом подплывёт к нему бабочка-ветреница в белом меху, в лебедином пуху и по-человечески с ним заговорит.

«А за то, что ты ждал, за то, что встретил меня с радостью, – продолжает барынька, и её голос нежный разгоняет усталость, – вот тебе, дядечка, от меня подарок...» Она говорит, а пух на её шубке ворошит ветер. Она головку наклоняет, и жемчужины в её ушах покачиваются над плечами. Она достаёт что-то из широкого рукава, а булавка в её берете сияет-переливается, – уже на душе у Топтыгина незабвенный праздник. Пальчики у неё длинные, тонкие, как у сказочной птицы. Протягивает она Топтыгину бумажку зелёную, настоящий доллар, посередке из оконца знакомый Хранклин внимательно, сурово глядит. Жмётся Топтыгин, робеет. От стыда так согрелся, аж вспотел. От смущения алыми пятнами покрылся, как яблочко коричное. Несёт Топтыгин несусазицу, льются изо рта его речи бессвязные, шепчут губы неуверенно «не возьму», а рука тянется к барыньке прикоснуться, хоть бы мизинчик погладить. А она: «Бери-бери, не стесняйся, это не подачка. Не собираюсь я, милый дядечка, тебя подкупать. Ты не бойся. Это бумажка непростая. Это неразменные сто долларов – могучее лекарство от недоброго слова и от косого взора, проверенное снадобье для спокойного сна и терпеливого бодрствования, первый и наиглавнейший медикамент от грусти и тоски, откуп от любого наёмщика, пусть он даже и собачий царь» – так говорит красавица неопиcуемая. Сверкает помада на её губах, глаза её – два лесных озера-зеркала, по краешку ледком затянутые, а посередине в полынье скользит серебряная плотвица, это подъехала к остановке маршрутка, лампочка в кабине водителя сияет в её зрачках... Взял Топтыгин сто долларов, прикоснулся нечаянно к барынькиной руке. Пальцы у неё холодные, без перчаток ведь и без варежек. А доллар на ощупь шершавый, маленькими грядками весь изрыт. И на Хранклине щетина чувствуется: вот ведь на неразменной деньге человек, а тоже бриться не любит.

Сердечная барынька из широкого рукава шубейки ещё что-то выловила и подаёт Топтыгину маленькую фляжку на тесёмке. А во фляжке той булькает-разговаривает не водица речная, не вода озёрная и не тёплые струи проливного дождя. Во фляжке той эмалированной колыхается жидкость дельная, щекотливая и задиристая. Испугался Топтыгин, как не испугаться, когда знакомый говорок он уловил. Отшатнулся Топтыгин, как не отшатнуться, когда интонацию милую сердцу он ухватил. Не мог ошибиться, в этом деле он специалист первой величины, понял окончательно и без сомнений: во фляжке из барынькиного рукава разговаривает добротный самогон, состряпанный из крыжовника, из слив, из смородины, из яблочек белый налив, – это знающему человеку за версту слышать.

«Вот, дарю я тебе, дядечка, от мороза оберег. Ты на шею фляжку повесь и носи, чтоб она всегда при тебе была. Куда ни пойдёшь, в баню или под душ – ты её, смотри, не снимай. Носить-то носи, но пригубить из неё не смей. А чтобы не сплеховать, лучше крышечку не открывай и не нюхай оттуда. Что внутри, тебя не касается, зато вот друзей-приятелей или просто хороших прохожих угощай, сколько вздумается. Это фляжка бездонная, самогон в ней не переводится, так и течёт по рюмочкам беспредельным ручьём. Если удержишься и не глотнёшь, не страшны тебе будут ни мороз, ни вьюга-пурга, ни метель. А не удержишься, смалодушничает, где-нибудь в проулке да за углом украдкой хлебнёшь оттуда, несдобровать тогда тебе, дядюшка. Сцапает мороз, ветер Посвист умыкнёт всё тепло. Исколет вьюга-пурга, вымотает метель. Ослабнешь, скужишься, скурвишься. И затащит тебя тогда Брехун за собой в собачье царство, так и знай».

Берёт Топтыгин фляжку осторожно, принимает подарок неохотно, с опаской прислушивается, о чём булькает там внутри. А как получилось-то неудобно: не успел опомниться, не поблагодарил даже, красавица упорхнула. Отряхнул он с себя обычный сон, фляжку поскорей на шею повесил, доллар дарёный в карман запихал, руку козырьком ко лбу прило-

жил: не видать ли где доброй барыньки. Далеко она не могла уйти, в ремонт часов не успела бы заскочить, торговый центр – не рукой подать, а на остановке её не видать.

Снежинки опускаются на город не по одной, не по две – взявшись за руки, целыми хороводами к земле спешат. Покрывало тюлевое всё толще становится, вплетаются в него нитки пушистые, складываются узоры причудливые. Творожича не видно. Двери метро только по памяти угадываются. Ларьки цветочные совсем потонули. Всё укрыло-упрятало снежное покрывало. Бросает вывеска горстки искр, сверкают в темноте снежные хлопья сиреневым да голубым. А людей за снежными занавесками не узнаешь. Не угадаешь, что они в глазах несут, радость или печаль. Ни пальто не видно, ни сумок, тени одни снуют, разве ж по ним скажешь, кто с работы милой сердцу в тёплую хату возвращается, а кто – на ночную смену, на труд постылый спешит, потому что в сказочке тесной прозябает, а в другую, попросторней, нету сил перепрыгнуть. Ничего не видать, всё и всех заштриховал-зашторил снег.

Вдруг посреди площади, возле самой стоянки автобусов, сверкнуло что-то и исчезло. Ухватил Топтыгин, разгадал очертание барыньки, милой сердцу. Вдалеке сквозь завесу снежных покрывал узнал мягкий пух шубейки, сапожки разглядел – и понёсся вдогонку, припорошённый, с белыми ресницами, с капельками на кончике носа и на щеках. Бежал Топтыгин, а фляжка подпрыгивала-приплясывала на его груди, самогон проснулся, умолял выпустить. Так просился наружу, что потемнело в глазах у Топтыгина, проснулась жажда неодолимая, словно вспомнил он большую любовь своей жизни, и затянула мир печальная пелена.

Бежал Топтыгин, догонял барыньку, а сам так страдал, что превратился в огромную сухую глотку. Хотелось ему срочно испытать уверенность в завтрашнем дне, втянуть жадными губами средство к существованию. Жаждал он хорошим настроением заручиться и насытиться неистощимым теплом. Так вот и разгадал на бегу Топтыгин лучший для себя оберег от болезней и горестей, перед которым все равны: и те, кто едет из тёплых контор центра, и паляндры нечёсанные с окраин, Хранклин-человек, Творожич, Загуляев, бесцветные мужики из ремонта часов, сердитые бабы из отделов торгового центра и старухи столетние на остановках.

Нагнал Топтыгин барыньку, тихонько за мягкое плечико тронул и смутился. Как же не смутиться, когда куртка у Топтыгина разметалась. Пуп у Топтыгина голый светится, по спине бегут ручьи горячие, по груди струятся реки полноводные. Щёки разгорелись, щетина торчит, в горле пересохло, а в глазах – жажда и печаль. С губ Топтыгина только и сорвалось: «Как звать-то тебя, милая, и не сказала», – а про себя душа его всхлипывала и светила по направлению к доброй барыньке.

Красавица неопиcуемая обернулась, повела тонкой бровью, сверкнула улыбкой из перламутра. И шепнула имя своё. Тут же унёс её ветер Посвист. Исчезла в снежном вихре, будто её и не было. Топтыгин стоял понуро, глядел на то место, откуда только что бабочка-ветреница ему улыбалась: вот и следы её на асфальте виднеются – или это маршруткины шины отпечатались. Пыхтел Топтыгин, моргал хлопьями снега на ресницах, а сам имя барынькино на все лады вслух взвешивал, про себя ласкал. И вдыхал он имя её вместе со снежинками, и выдыхал с тёплым, клубящимся дымком: «Эх, Зима. Ох, Зима. Ух, Зима-Зима...»

Глава 2

Липка

Замерзала у подъезда девушка. На скамейке возле урны хохлилась, пятернёй растопыренной перепутанные патлы раздирала. Серые, немытые, будто паклей обмазанные. Жалко, не было у неё капюшона или хоть косынки – прикрыть. Всё глядела она на дверь подъездную, куталась в плащик негреющий, всхлипывала, куксилась, но внутрь не шла. Точный адрес, будто мелочь из карманов растратился, день за днём, ночь за ночью, словно бисер раскатился из памяти. Вроде всё так: второй от остановки кирпичный дом, третий подъезд, там на пятом этаже, слева от лестницы – квартира с дверью коричневой.

Час бродила она под окнами, по приметам всяким вычисляя. Куст сирени белой цвёл под окном в мае месяце: найдёшь цветок с пятью лепестками – самое заветное сбудется. По весне ворона каркала на гнезде прошлогоднем, продрогшем за зиму, предвещая жителям окраины безденежье, бесхлебицу и разводы. Так старуха Тармура объясняла. У старухи шаль пуховая, безрукавка овечья, ручки сухенькие, под когтями земля. На всю округу Тармура гниловатым подполом пахивала. Целый день сидела старуха Тармура на лавочке возле детской площадки, костылём по гравию стучала, Храпушу и Хрипушу отгоняя, Дряхлею и Зибуху страшая, уличных нежитей, золовок Недайбога отпугивала, чтобы не нажились ненароком, раньше времени не прибрали к рукам... Только нет нигде того куста сирени, нет берёзы-двустволки с вороньими гнёздами, детская площадка перерыта бульдозером, и старухи Тармуры с её костылем не видать. Объявилась во дворе стоянка, сплошь забитая синими «вольвами» и долгушами-бездорожниками. Перекрасили качели и лавочки. Ни куста акации, ни шиповника. Может быть, свернула девушка не в тот проулок и чужой это дом? Сколько же, интересно, лет просвистело? Сколько же это зим прохрустело? Негде разузнать, не у кого выпросить. Удивлялась девушка, ёжилась, руками-ледышками себя обнимала, словно от тоски украдкой уводя. И брела, куда глаза глядят, под косым вечерним дождём.

Долго кликала она под окнами родителей, как не раз бывало в детстве, когда лень подниматься за скакалкой, за мелками, за яблоком. Ладонь ко рту приложив, сизым паром выдыха небо окутывая, в отчаянье звала отца, кричала матушку. То настойчиво, то грустно, то жалобно. Но ни одна занавеска ей в ответ не дрогнула, ни одна балконная ставня на зов не скрипнула. Где-то захлопнули форточку. Телефон пищал на втором этаже. И кипящий чайник свистел.

Час-другой, ближе к полуночи, бродила она невидимкой близ домов окрестных. Ногу вывернула, щёку оцарапала, об кусты боярышника колготы порвала. Голос у неё осип, тушь размазалась, налилась простуда на губе, и живот заболел в преддверье женских дней. В темноте мышинной, окраинной, сидела она на качелях возле перекопанной траншеи и заброшенного на ночь бульдозера. По привычке туда-сюда качалась. Мёрзлыми руками последнюю сигарету курила, сопли-слёзы по лицу рукавом плаща растирая. Ни о чём-то она больше не думала, только всхлипывала тихонько, промерзая всё сильнее и сильнее. Уж не чувствовала от холода ни ушей, ни рук, ни пальцев ног. Звёзды тут и там о своём бескрайнем невпаде сипели. Облака ползли над крышами домов бетонных. Пёрышко ночи выпало из крыла, проплыло над проулком, пролетело над траншеей перекопанной. На ветру сверкало, кружилось. На плечо Липке опустилось. Вот и стали её патлы чёрными, как крыло воронье.

Не поймёшь, наяву или во сне притормозила в проулке машина. Опустилось стекло боковое, будто бы кто-то Липку позвал. А потом окликнул ещё раз, тихо и трепетно, снова по имени. Встрепенулась девушка, головой тряхнула, холод, сонную одурь из последних сил отогнала. «Липа! Липочка!» Обернулась, пригляделась, прислушалась. С удивлением

узнала одноклассника Мишку: долговязого, который всё ходил за ней, дёргал за косы, под окном маячил, музыку включал в телефон, а девчонки шептались, что без памяти он в Липку втрескался.

Удивляться сил уже не было: подбежала к машине, щёку колкую чмокнула, за шею легонечко обняла, ледяной ладошкой прижгла и скорее юркнула к нему в авто погреться, пока рад. Всё дрожала, сигаретой третьей дымила и морщилась. Очень уж имя Миша для неё бесцветное и тесное, словно школьная форма трёхлетней давности, словно сумка клеёчатая продуктовая и рейтузы зимние, с начёсом. Ну да ладно, везёт куда-то, увлечённо о жизни рассказывает, чёрными глазницами сверкает. И тепло у него. И уютно, аж клонит в сон. Вот тебе и Дайбог.

За окошком фонари мелькали. Разлелеялась Липка от тепла, совершенно не заботясь, куда едут. Разговоры Мишины, хвастовство его, прибаутки, жалобы на жизнь мимо ушей пропускала. Легонько кивала, будто бы слушает. И слегка улыбалась, будто бы с нежностью. А сама-то всё думала-гадала, силилась понять, что же это такое с ней стряслось, как же это она докатилась.

На смешливом ветерке ранней весны гнулась Липка, тоненькая она тогда была и зелёная, зато как резвилось солнышко в её клейких листочках. А потом, в апреле месяце, неожиданно-негаданно выпрямилась, распушилась, из-под подола матери вылезла.

Осмелела девонька, стала громко мнения высказывать. Вечерами у окна маячила, хвостик косы поглаживала, на тропинке кого-то высматривая. Начала о чём-то раздумывать, телефон вперёд отца выхватывала. Волосы у неё отросли длинные, с завитушками, щедро одарило их солнце весенней позолотой. Глазки почернели, словно у птицы-синицы заблестели, из-под бровей внимательно глянули и широко распахнулись. Щёчки налились румянцем, как заморские абрикосы стали в мягоньком пушке.

Вздрагивали соседи нижние, когда топала Липочка ножкой, требуя новые сапожки. Просыпались соседи сбоку, когда на отца, на мать покрикивая, брючки кожаные она выпрашивала, говорила: «Должна быть аккуратной девушка, чтобы волосок – к волоску, чтобы свитерок – к свитерку».

Понукала Липочка матушкой, лаки да помады клянчила. Ластилась Липочка к батеньке, денежки карманные вытягивала, новые серёжки вымогала, старенькие курточки брала, дырки да царапины показывала, на подарки ко дню рожденья намекая. Осмелеть-то она осмелела, повзрослеть-то она повзрослела, расцветать-то она расцветала, а чего со всем этим делать дальше – понятия не имела. Догадывалась, что прежде надо бы головой варить, да выпаривать, да обжаривать, но кто ж подкинет ума, когда мыслишек нема.

Тут бы сказочке весёлой начаться, только надо же, в конце мая месяца проморгала Липочка своего пекинеса, отпустила с поводка, сама на соседний подъезд косилась, а делала вид, что считает облака. Шёл пекинесу десятый годок. В последнее время стал он линять и во сне стонал, словно чувствовала душа собачья, что отлаяла на белом свете. Искусал пекинеса в парке Бульдог-Живоглот, сам с локоток, но на рык знаменит и на укус ядовит. Болел пекинес три дня, сухой сделался у него нос, закатились собачьи глаза, хвост еле-еле шевелился, капала изо рта слюна, а на четвёртый денёк канула искусанная душа в собачий раёк.

Думали отец с матерью, как дочку утешить, гадали, чем бы её успокоить. Запирались на кухоньке, шептались-совещались, как же это вернуть румянец на бледное личико, чем улыбку вызвать на поджатых губах. А тревожиться им было о чём: не выходит девка на улицу, не гуляет вокруг дома с подругами, не хохочет у подъезда с одноклассниками. Где это видано: целый день слоняется по дому, рукавом слёзы утирая. От горя приболела, сделался у неё жор ненасытный, какой всегда от печали бывает. Не остановится Липка, ест да ест. Сдобы с изюмом, сушки, солёные орешки, йогурты, калачи, пирожки из рук не выпускает.

Подурнела, растолстела, лицом сделалась как блин зарёванный, караул. Долго отец с матерью головы ломали, но никак не могли придумать, чем чадо занять, как из дома на воздух выпроводить. Намаялись, запарились и подарили Липочке ко дню рождения ролики.

– Разве отец с матерью тебе дешёвку подсунут? Такие ролики на рынке не спрашивай, в лавке безымянной не ищи. Этот «Грибок» продавщица нахваливала, тут колёса резиновые, им сносу не будет, тебе на всю жизнь хватит. С нас за эти колёса резиновые три шкуры содрали...

– Ты гляди, доча, липучки, ремешки всякие... А ну, скорее примерь...

Наказывал отец: «Не ездь, Липка, по широким улицам, не крутись на людных площадях. Не катайся по бульварам шумным, по переулкам центральным. Не слоняйся, милая, вдоль Москвы-реки, мимо бутербродных да закусочных, мимо ресторанов круглосуточных. Не носись, хорошая, возле салонов меховых, возле лавок с расписными побрякушками, с золотыми бабьими погремушками. Не мелькай, зелёная, у гостиниц белокаменных, мимо неизвестных контор...»

Приговаривала Липке мать, всхлипывая горько, словно с милой дочкой прощаясь: «Ты катайся, девочка, по дворам тихим, окраинным, здесь все знаем друг дружку в лицо. Ездь, сколько хочется, вокруг дома, тут всегда на лавках кто-нибудь сидит, газетку читает. Приглядят. Мало, что ли, у нас в районе места? Только смотри, наколенники надевай. Налокотники мы тоже купили, не пожалели, ты уж и их не забывай прицеплять, они стоят недёшево, не зря же мы на них тратились. Вдоль детского сада катайся, под зелёными ясенями кислородом дыши. Вокруг школы всегда мамы с детками гуляют, бабушки столетние косточки на солнышке греют. Защитят, заступятся в случае чего», – так стонала мать, за будущее дочки волнуясь. И неслись те вопли в форточку, стряхивая с клёнов пичуг малых.

Раскрыла Липка коробку, пёстрыми каракулями изукрашенную. В коробке той лежали пластмассовые валенки сорокового размера, только вместо галош – рядок колёс. Серые, на зелёной подкладке – никакие брюки под них не наденешь, так изуродуют внешность, только возле детсада и катайся. Отшатнулась Липка, навернулись слёзы на глаза, а делать нечего, надо дорогому подарку радоваться да нахваливать. Не решила она обидеть отца с матерью, виду не подавала, что расстроена, полчаса разбиралась со шнурками, ещё час – с ремешками и липучками. Как надела да затянула, тут же бросилась себя разглядывать. Зеркало в прихожей висит не высоко, не низко, в бронзовой раме с завитушками, тусклое, глухое, смотрит куда-то внутрь, словно пульс у себя считает. Не отвечает оно, что с роликами надевать, задумалось о своём и дуется. Трельяж в комнате отца с матерью, который давно пора сослать в деревню, не даёт Липке добрый совет, с какой курткой эти ролики лучше смотрятся, не подсказывает, портят вид наколенники или нет. А зеркальце в ванной и спрашивать не стоит – только рожу корчит да прыщи выпячивает.

Два дня шаталась Липка на роликах по дому, за тумбочки, за шкафчики цепляясь. Крутилась, вертелась меж угрюмых зеркал да скрипучих дверей. В третий раз к трельяжу за советом покатила, смахнула в коридоре телефон. Настойчиво заголосили из трубки протяжные всхлипы, словно бабка гнусавая предостерегала. Да только ничего Липка не услышала, очень уж она была занята. Кое-как, за стену ухватившись, в комнату завернула, спеша на себя ещё раз в трельяж полюбоваться.

В комнате окно распахнуто, ветер майскую песенку напевает, с жёлтеньким тюлем играет. А на подоконнике сидит голубь и красным глазком комнату осматривает. Испугалась Липка: птица уличная в дом влетит, начнёт метаться, слоников с комода сшибёт, пыль подымет, загадит всё родительское добро. Возмущившись, кинулась она к окну хозяйство защищать, руками замахала, чтобы летел голубь прочь и распоряжался у себя в небесах. Под ковром у отца уж два года как было отложено на машину «Ока», и попал тот немалый бугор под колесо. Споткнулась Липка, стала падать подпиленным деревцем, пальцы в ужасе растопы-

рив. Ударилась лбом об угол подоконника, смахнула в полёте горшок с геранью. Затуманилось от ушиба у неё в голове. Горько плакала Липка, на полу сидя, капала кровь из разбитой брови, а на подоконнике голубь топтался, красным глазком приглядывая. Что он там по-своему приговаривал: жалел, предостерегал или бессмыслицу ворковал, – кто ж разберёт. Скинула Липка в сердцах левый валенок, скинула правый и с размаху в коридор зашвырнула.

Неделю не хотела она слышать про ролики. На липучки да завязки эти смотреть не могла. Цену колёсам резиновым знать не желала. Коробку, каракулями изрисованную, с глаз долой на антресоль засунула. Потом, одним махом всю злобу позабыв, валенки неказистые нацепила и решила на улице показаться.

Быстро научилась Липка на роликах стоять, только это полдела. По асфальту бугри-стому, латаному, по тротуару с колдобинами выходили у неё шаткие шажки, как у дитяти малого, больше ничего. Два шага ступит осторожно, третий проедет уверенней, на четвёр-том, замечтавшись, оступится. Три шага проедет, забудется, разлетится, вот и споткнулась. Руками машет, за кусты хватается, а надо дальше ковылять, ролики обновлять.

Однако ж никого из прохожих не сбила Липка; разок-другой чуть не столкнулась с дворничихой, да та вовремя отскочила, спаслась. Вот тебе и Дайбог. Чудом не попала Липка в неприятности, хлеб сжимала в кулачке, так научила её мать. Хлеб её берёт, не давал убиться под колёсами чихлых «копеек», что носятся по дворам, громяхают музыкой и давят кошек.

Но не всё ведь в жизни накатано, иногда и чудо оступится, иногда и хлеб заезвается, позабудет предупредить, не успеет подхватить. Два раза ломала Липка пальцы руки, на собак натыкалась, синяки да шишки набивала – привозила отцу-матери. Синяки да шишки эти проредили и без того скудные полки Липкиных ухажёров. Не свистели больше под окнами, не включали песни в телефон, горевала девка без внимания – и день-деньской всё прилежней упражнялась на роликах.

Нелегко давалось умение. Всхлипывала Липка, стонала, ссадины чесала. Эка ли невидаль, что сначала каталась она возле детского сада, по безлюдным улочкам, по тихим дво-рам, где столетние бабушки на балконах сидят, воздухом пыхтят, и няньки на лавках газеты читают, коляски качают. В наколенниках, в налокотниках, в мягкой курточке на поролоне катила Липка вокруг школы, позабыв обо всём на свете. Бестолковые всякие познания с лёг-костью выветривались из головы. Мчалась она, забывая науки заумные, ничего они о жизни не рассказывают, о судьбе молчат, девушке не спешат помочь. И вообще-то физика, химия, геометрия, география с лёгкостью из головы выметаются, стоит только разбежаться на роли-ках.

Две вишни румянца созревали у Липки на щеках. Сверкала на солнце коса. Непослуш-ные прядки веялись по ветру. Тело девичье разгоралось и розовело. Медовый пот тёк по желобку спины. Ветерок свежий, летний развеивал из головушки шелуху да сор, уносил и незрелые зёрнышки. Что матушка перед сном нашёптывала, унёс ветер. О чём батюшка с рюмкой в день рождения разглагольствовал – всё выветрилось. Хорошо с пустой головуш-кой едётся, ничего не щиплет, не колет, только небеса голубоглазые навстречу мчат. И нес-лась Липа дальше, без руля, без тормозов. Была она в такие минуты опасной для жизни детей малых и собак старых, если выбегут нечаянно из-за угла, могла пошатнуть здоровье и всем остальным, если бы возникли у неё на пути. Но хлебушек в кулачке и тут Липку берёт, никто ей навстречу не выбегал, никто под колёсами Липкиными не поранился, все остались целыми, здоровыми и долго ещё проживут.

Распевала Липка песенки. Катила и любовалась, как цветут вишни и яблони. День ото дня всё уверенней мелькала мимо подъездов. Золотая коса до пят, ни резинкой, ни лентой не перетянутая, что ни день, сильнее расплеталась. Веялись по ветру прядки, сверкали на солнце, украшая улицы окраины.

На мешковине домов, словно вышивка крестиком, белели рамы, мутноватые стёкла сверкали бисером. В окна Липка вглядывалась. Что пекут, нюхала. Как живут, угадывала. Мерешилось ей, что за занавесками кружевными, в квартирах чужих чья-то замечательная жизнь таится. Под люстрами икеевыми, возле полок книжных, которых только вершки видны. Раздумывала Липка, кто там живёт-поживает, чем добра наживает. Размышляла: вон за теми рамами ненowymi, за окнами туманными, о чём горюют, по ком скучают, об кого зуб точат? А на втором этаже, где занавески розовые, в мире или в ссоре живут? Интересно, а женщина голая, которая только что в окне блеснула, с милым тешится или с постылым бесится? А как правильно? А как лучше: чужими руками жар загребать или таскать воду стареньким решетом? Мало ли вопросов можно задать? Да только окна московские не спешат отвечать. Притворяются одни близорукими, другие на прохожих безучастно поглядывают, третьи, хитро сощурившись, солнцем спят, остальные в небо уставились, облака считают.

Ехала Липка дальше. Ничего она не искала, никого не ожидала, а, от любопытства сгорая, хотела чужую жизнь подглядеть да в своей разобраться. Вглядывалась девонька в омуты комнат московских. Норовила из их мути дельное выудить, думала, что самая умная. Всё хотела со дна, из ила квартирок окраинных жемчуг вычерпать, а ловились улейки и тина, больше ничего. Притаились квартирки московские, как мутные лужицы. Не спешили делиться секретами. Онемели, потемнели, как назло. Плескались в глубине незнакомых гостиных абажуры синие, оборочками да рюшами бездумными одуряли. Люстры хрустальные, чешуёй сверкая, убаюкивали. На втором этаже мелькнул хворый светильник, потерявший плафон-колокольчик. Тёточка, пыль вытирая, телевизором увлеклась? Или муж, в неверную жену пультом запустив, угодил не туда? Вздыхала Липочка: «Все-то свои сказочки слагают, ссорятся, мирятся, чего-то празднуют». Всхлипывала зелёная: «У одной у меня до сих пор ничего не наметилось, проживаю за пазухой отца-матери, ошиваюсь без сказочки по чужим дворам. Эх, у кого бы узнать, как эти сказочки затевают, с чего начинают, куда направляют?» Ей в ответ в чужих кухоньках резвились беспечными плотвичками торшеры, голые лампочки да сиреневые плафоны. Полки, рамки, вьюнки, шкафы, коврики стайками проплывали, теряясь в илистом сумраке. Ничего не подсказывали комнатки окраинные, о счастье молчали или болтали впустую о пустяках. А где был совет, там угрюмо темнели зашторенные веки-гардины да глухие скрытные жалюзи.

Слово за слово, снова засветло попадала Липка в незнакомые дворы, на улочки дальние. Здесь старушек на балконах не отыщешь, нянечки на лавках не сидят, старички на солнышке не греются, мамаш с детьми не видно. На улицах чужих встречались ей люди подозрительные, в чёрных пальто. Шли они навстречу поодиночке, быстрым шагом, словно убегали от кого или гнались за кем. Руки прятали в карманах, шеи втягивали в плечи, лица скрывали за воротниками, между тем искоса Липку осматривали: что за девица, куда катится, какие у неё ножки, а коленки, а плечики – ничего не пропускали, подмечали на всякий случай. Взгляды косые, звериные, очи хватучие, к чужому липучие, не пугали Липку, не лишали спокойствия. Ехала она дальше, легко отталкивались от асфальта ножки, непонятными взглядами приободрённые, весело размахивали ручки, голосок чистый сладко напевал. Радовалась Липка, что выветрились премудрости окончательно из её головы. Хорошо без премудростей едет, легко без премудростей дышится, весело без премудростей поётся. Вот и не поворачивала она назад, не возвращалась на улицы знакомые, во дворы тихие. Скучно там. Под окнами родительской кухоньки все тропинки разведаны, знаешь наперёд, куда выведут. Вокруг дома родного лужайки да скверы истоптаны, фантиками-окурками усыпаны. У подъезда под вечер на лавочках одни и те же сидят, друг дружке косточки перемывают, приглядывают: не наметилось ли у кого сказочки интересной, чтобы было, о чём пошептаться.

И катилась девушка дальше, уплетала ненасытными глазами аллейки да садики незнакомые, тропки чужие. И гладила дворовых собак, которые попадались на пути. А на улицах чужих, по которым первый раз катишься, всё иначе: погода тёплая, небеса голубые, дома новые, воздух свежий, листва душистая солнечным пухом осыпана.

Катилась Липка с ветерком, из садов, из сквериков к золотой косе тянулись яблонь розовые цветы. Шейку белую гладили сирени мягкие кисти. Ей вослед блестели чёрными бусинами птицы малые, свистели-заливались пичуги городские. Ехала Липка, из-под колес в голубые небеса с шумом срывались голуби, вишни осыпали её белыми лепестками, каштаны роняли на веки золотистую пыльцу, тополя вплетали пушинки в волосы. На Липкины звонкие песенки выбирались собаки из подворотен, кланялись до земли, виляли хвостами. Каждый пёс норовил подкрасться под руку, уткнуться тёплым носом в ладонь, в глаза заглянуть, душу разглядеть, что за девушка такая, узнать, куда она направляется, от дела лытает, мается или отдыхает.

Печалилась Липка, глядя на псов дворовых, вспоминала своего пекинеса. Освежалось в памяти время далёкое, когда вместе гуляли по тихим улочкам детства, по паркам да аллеикам безлюдным. В те времена голубоглазые дни медлительно ползли к закату, а город уместился бы в стеклянном шаре, где всегда идёт снег: кирпичный дом, улочка до школы, сквер, переулок, площадка для дрессировки собак – раньше вся Москва умещалась на Липкиной ладони.

Задумывалась девица, спотыкалась, смахивала с плеч лепестки вишен, стирала с лица слезинки, перемешанные с золотой каштановой пылью. Грустила Липка, хотелось ей скинуть ролики – да по парку с собаками пройти. Поворачивала она назад. Поникшая, увядшая, возвращалась к отцу, к матери.

Встречали Липочку дома холодный чайник да гречневая каша в сковороде. Потеряла девица спокойствие, тесно стало ей в четырёх стенах, будто после стирки съёжился родной дом. Маялась она, задыхалась, не узнавая квартиру родительскую, в которой родилась и росла. Словно к соседям нечаянно зашла. А о доме чужом, не своём, мы ведь много чего узнаём и, любую мелочь замечая, головой качаем. Вроде недолгими были её прогулки, а раз от разу всё ниже опускался потолок, сжимались несветлые комнатки, всякой мебелью без меры набитые. На кухне темно-синий абажур, словно халат у женщины, которая себя старухой назвала и больше ничего не ждёт. О чём-то квартирка родительская шептала. Много чего объясняла клеёнка цветастая на кухоньке. Липочка моргала, вздыхала, но понять до конца не могла. И бродила, не зная, куда приткнуться, какой подушке поплакаться. В другой раз очень рассердили её полки и шкафчики, вещичками, отрезами материи и обувью без меры заваленные. Почужел, потемнел трельяж, комод царапинами покрылся, а телевизор насупился и оступел. Сжимала Липка кулачки, удивляясь, чего это на самом видном месте сервант лыбится, набил пузо хрусталём и рад как дурак. А на тумбочках да на полочках, на бестолковых хрустальных вазочках, на статуэтках-козликах, на зелёных пластмассовых слониках проступила пыль, будто первый снег. Покрывала на диванах, на креслах цветастые, ковры на стенах не в меру весёлые, а паласы-то чему радуются, георгинами-розами кого хотят ослепить? Как ни старается, не узнаёт Липка родительский дом, словно злые люди все комнаты высмеяли, чепухой да хламом окна завесили, корзиночки, коврики бездумно разбросали, цветы искусственные на видном месте приткнули.

Но недолго печалются девушки, быстро горькое у них забывается. Утром вновь на щеках румянец яблочный, глазёнки усмеваются, сердце просится летать на роликах. Уносили Липку колёса резиновые по дорожкам путаным, горбатым, по переулкам безлюдным, прохладным. Здесь люди встречались дёрганные, бежали навстречу встревоженно. Лица скрывали под капюшонами, глаза прятали за тёмными очками, сами скорей ныряли в чёрные

авто и сквозь дымные стёкла разглядывали: что за девица свеженькая-тоненькая, куда она несётся, а может, её остановить, задержать, предложить коньячка. Ладно, пускай едет своей дорогой, зелена ещё.

Тут бы Липке насторожиться и назад повернуть, в родные края. Да только улицы чужие и дома незнакомые к ней тихонько подкрадывались, словно кошки, под ногами крутились, о брюки тёрлись, подлизывались, в сердце протискивались, прогуляться упрашивали, прелести свои приукрашивали. Шумели деревья вдали, манили скорей подойти. Сверкали зеркальные крыши, звали разведать, что за здание такое, чем там занимаются люди. Вертелись дома вдали, подставляли под солнце стены не простые, не кирпичные, а оштукатуренные бока с колоннами, с балконами, выпячивали разные вывески, вытягивались, выдвигались, на глаза бросались. Как тут остановиться девушке, как назад повернуть, можно ли после красоты такой кататься мимо кирпичных пятиэтажек края родного, царства спального? Можно ли на школьном дворе кружиться под присмотром мамаш с детками, под надзором старушек-соседок с газетками? А края незнакомые Липкину слабинку чувствовали, ласково уходили улочки под гору, разбегались в разные стороны переулки.

Автобусы мимо проезжали, набитые, как банки с малосольными огурчиками. Из-за стёкол тусклых глядели на Липку старушки да тётушки грустные, головами качали, глазами шептали: «Ой ты, девонька. Ой, на роликах. Не смотри в задымлённую даль, не гляди по сторонам. Не кати вниз с горочки, не ловись на манки улочек. Эти улки-плутовки, переулки-сводники к хорошему не приводят. Ты припомни, что отец с матерью советовали, освежи в памяти, что они приговаривали. Поворачивай, лети, ласточка, назад. Вертайся, красавица, домой. Ты гуляй-катайся по известным улицам. Ты носись, хорошая, мимо тихих сквериков. В другой раз надевай длиннее юбочку. И чтоб кофточка не так просвечивала. И завязывай патлы лентой, а помаду забудь, у тебя всё своё, натуральное, мазюкаться зря не спеши, ещё успеется».

Ошпаренная теми мольбами, опускала Липка глаза, спотыкалась, налетала на встречаемых людей и не помнила, как тормозить. А когда наконец останавливалась, то стояла посреди тротуара, не зная, на что опереться, куда дальше себя девать. Чудным казалось ей всё вокруг, боязливо становилось на сердце. Дома подмигивали окнами, непонятно, добра желали или подшучивали по привычке. Улицы равнодушно петляли, убегали вбок переулки, пятились здания-вертихвостки, мельтешили вывески.

«Нет, – думала Липка, – тётки бледные пугали из зависти, чтоб споткнулась девушка, чтоб на целый день опечалилась. Старухи сморщенные, прижатые к тусклым окнам автобуса, норовили лишить спокойствия, уж у них на всех нагадано, ни во что не верят старые курицы, только дуются и предсказывают».

Сжимала Липка в кулачке хлеб, отталкивалась посильнее, летела малой птицей-певницей. Ветер летний её догонял, за пазухой гулял, по спине гладил, голову освежал. Забывалась Липка окончательно, ехала и хорошела на глазах. Громыхали мимо автобусы, глядели ей вослед старушки да тётушки, головами в давке качали, шептали глазами, что не всё впереди – доброе и не всё впереди к счастьюцу.

Что ни день, то дальше увозили Липку ролики, что ни день, хитрей манили Липку улочки. Возникали витрины стеклянные, сверкали-сияли издали, подзывали ласково, лилась из дверей музыка, а под музыку легче катится, всё под музыку забывается, а душа за мечтой гонится. В тех витринах висели шмоточки: джинсы, юбки, пальто, маечки, – разноцветные, яркие, новые, чтоб казался каждый день праздничком. В тех витринах стояли девушки, из картона, железа и пластика, обнимали тех девушек молодцы, все добротню, с иголочки одетые. У их ног раскидал кто-то сумочки, косметички, брелоки и часики, всё сверкает,

искрится радостью, подзывает, влечёт и светится. А легко после них едет, глубоко, ненасытно дышится, а как жадно и сладко мечтается...

Ехала Липка весело, словно все те тряпочки примерила, словно поделились с нею праздничком. Даже серые дворы казались милыми. Лампы в окнах светили загадочно, лица в окнах мелькали бледные, но казались довольно приветливыми. А за её спиной отворялись двери железные, скрипели петли тяжёлые, кто-то тихо в щёлку выглядывал, что за птичка и куда летит, высматривал. Камеры гостиниц белокаменных чёрными глазами вослед пялились, обмеряли рост, обхват груди, окружность талии, заносили данные в журнальчики. Из окон ей прямо в лоб целились, чиркали – и получалась карточка. Хорошо на ней смотрелась девушка: золотые волосы, на роликах, и худа как жердь, и ноги длинные, как у молодой здоровой лошади, бёдра крепкие, а ляжки стройные... Жаль, что слишком быстро птичка катится, унеслась куда-то, не догнать её.

Ехала-каталась, в девушку превращалась. Весело ей гулялось. Расцветала-мечтала, от беды улетала. Что-то её хранило, что-то оберегало.

Прогулка за прогулкой, приближалась Липка к центру Москвы. Каталась по улицам шумным, не пугалась ни рёва машин, ни столичных толп. Объезжала людей, крутилась посреди площадей, мимо магазинов просторных носилась, мимо гостиниц белокаменных мелькала, у дверей железных ролики поправляла, ничего не боялась, над родительскими страхами посмеиваясь, на советы отца-матери махала рукой. В волосах её сверкала заколочка, на руке её висела цепочка, на пальцах – ни одного кольца, в сердце – ни одного молодца. Сияние дорогих салонов Липку ослепило, от тётушек дородных вином разило. Пахла Москва сушёными цветами, арбузами, жемчугом, хвоей, тальком, соболями и высокими потолками. Пропиталась Липка Москвой, ужимки у девиц воровала, смех у продавщиц подбирала, улыбки у встречающих перенимала, много чего набралась.

В один погожий денёк, без наколенников, без налокотников, в синих колготах сеточкой, в короткой юбчонке, в лёгкой кофтёнке, с ветром за пазухой неслась Липка вниз по Тверской. Думала, съедет по-быстрому до Манежной площади, там ролики скинет, пробежится по магазинам. Ещё хотела она мороженого в рожке и в Александровском саду на травке полежать, глазками пострелять. Песенку мурлыкала. Много шлялось по улице народа, приходилось людей объезжать, а это трудновато для девушки, если весна полным ходом происходит у неё в голове. О многом по пути мечтала Липка, те мечты мелькали быстрее, чем магазинчики Тверской, рассыпались бусинами разноцветными, раскатывались бисером перламутровым.

Разогналась она, разогрелась, загадала к лету какого-нибудь воробышка наповал сразить, голубка приручить, сказочку свою шустренькую начать, много чего легкомысленного наметила и угадила нежданно-негаданно прямо в объятия Лай Лаича Брехуна. Неизвестно откуда, из-под асфальта Тверской улицы, а может, даже из подземного русла Неглинки-реки возник Брехун на пути, образовался из затоптанного тротуара. Объятия раскрыл, ручищи хватучие растопырил, улыбается, а сам наблюдает, как Липка поступит.

Было у неё из загвоздки такой три выхода: худ, худа, хуже. Вправо увильнёшь, под колёса чёрным долгушам попадёшь. А в тех долгушах нечистые на руку сидят, разбойники Кудеярычи едут, сводники да жулики в лобовые стёкла глядят – вот и не захотелось Липке справа Брехуна объезжать. Хорошо, не объезжай справа – да только если влево вильнёшь, об витрину голову проломишь. А за витриной той мальчишки худые сидят, волками глядят, ногти острые точат, вот и пришлось бы Липке за витрину платить, с волками дружить. Выбрала она из трёх худ среднее, въехала на полной скорости, с ветром за пазухой, прямо в объятия Брехуну. Столкнулась мягкой девичьей грудью со стареньким свитером, прижалась горячим телом к твёрдым рёбрышкам, перепутались волосы золотистые, мягкие, с колючими

нечёсанными патлами Собачьего царя. А как ударилась девица об колечко нешуточное, что в левом соске Брехуна висит, так разругалась, бедная, что обо всех мечтах позабыла. Не удержи её Лай Лаич, вот и были бы синяки да шишки, вот и плакали бы синие колготы сеточкой.

Подхватил Лай Лаич девицу бережно, пыль, гарь, мусор уличный с неё стряхнул, улыбнулся, ухмыльнулся, подмигнул: «Шлёт тебе с собачьих небес восточку твой пекинес. А Бульдога-Живоглота, что такую красавицу обидел, не прощу, проучу, блох кусачих ночью напущу».

Пригляделась Липка к Лай Лаичу и чуть было не упала окончательно. Как посмотришь прямо на Лай Лаича, то не видишь ничего особенного. Как посмотришь прямо повнимательней, снова ничего особенного не находишь. Так, какой-то овощ не первой свежести, отнюдь не богатырь, давно не молодец. Ростом невелик, плечами узок, лицом худ, видом сер. Тут как ни старайся: хоть щурься, хоть пялься, лучше прямо на Лай Лаича не гляди, ничего примечательного в нём не найдешь. Кого-то он напоминает, но скрывает. Нос – картошина-уродица, патлы путаные паклей склеены, глазки хитрые, щёки впалые – и такой-то на что надеется?

Но посмотришь косо на Лай Лаича и замечаешь коготь на мизинце, различаешь ухмылку многодонную, на лице ловишь искорку хитрую. Как посмотришь косо на Лай Лаича, сразу ясно, что латанные портки, что ему на два размера велики, – настоящие джинсы «Левайс», такие не у многих сейчас. А посмотришь косо на Лай Лаича ещё сильнее, оказывается, в ухе-то у него болт из чистого золота, будь здоров, ослепляет людей и комаров. Как присмотришься к Лай Лаичу ещё чуть-чуть, оказывается, очи у него голубые, будто небо живые, бегают по ним облака: думы разные, мысли непростые. Искоса рассмотрев шнобель Лай Лаича, понимаешь: ничуть не картошина, не морковь и не репа-уродица, а тончайшей работы орлиный нос. Лицо Лай Лаича бледное. Борода Лай Лаича острая. Рост компактный, но косточки плотные, хватка жёсткая, походка твёрдая. А всё ж дует чем-то от него добрым, веет чем-то от него тёплым, клеит чем-то он к себе жалобным. Иностранное у него на уме, сумасбродное на его языке. Много неуловимого и необъяснимого в Лай Лаиче Брехуне. С лёту даже не знаешь, как это назвать. И хочется его разгадать.

Не угостил Лай Лаич девушку мороженым, не отвёл подкрепиться чайком, не предложил тёплого пирожка с малиной, для поднятия духа солянкой мясной не попотчевал. Держал он Липку крепко под локоток, вёл за собой мимо людных ресторанчиков, уводил от закусовых да кафетериев, увлекал с прямой дорожки, сбивал с пути. А как ласково глазами поблёскивал. Бровями играл разноцветными: то чёрной играл, соболиной, то белой играл, песцовой. А говорил Лай Лаич поучительно, шептал-бурчал такие слова: «Тебе ли, девушка, по Тверской гулять? Тебе ли, милая, с горочки гонять? Лихо эта улица под гору бежит. Шумом убаюкает, блеском усыпит. А как едешь с горочки, стонут тормоза, и витрины всякие лезут на глаза. А мыслишки пыльные в голове снуют, тётушки вертлявые отовсюду прут. Молодцы бесстыжие из машин гудят, басурмане чёрные глазками едят. Ты послушайся Лай Лаича Брехуна, не гуляй по этой улице одна».

Уводил Лай Лаич девушку от Тверской, заговаривал зубы ласково, при этом потихоньку ушко бородёнкой щекотал. Шла за ним Липка. По сторонам головой не вертела, под ноги не глядела, на солнце не жмурилась, голубей на карнизах не считала, в окна не засматривала. Только и видела перед собой голубые глаза Лай Лаича, губы его говорливые, бороденку острую, брови разноцветные, серёжку-болт да железный зуб. Уводил Лай Лаич девушку бережно, тихонько о себе рассказывал. Всякие небылицы как наряды вывешивал, непонятно, где он приукрашивал, где – к правде воду подмешивал. Послушаешь Лай Лаича левым ухом – и не слышно ничего особенного, какой-то врун-попрыгун старается на словах себя дельным человеком представить, в приличный костюм нарядить да к тому же не слишком умен, раз

надеется на такую наживку поймать. Как послушаешь ещё Лай Лаича левым ухом, слышно, что слова у него с делом рядышком не идут, лес дремучий между словами и делами Брехуна разрастается, слова его по дороге слоняются, а дела в тёмной чаще живут.

Уводил Лай Лаич девушку за собой в переулки кривые, в проулки сырые. Роняла Липка крошки, чтобы дорогу назад найти. Но на крошки те слетались голуби, воробьи, синицы, трясогузки, дятлы, глухари, дикие петухи, зяблики, малиновки, соловьи, прочие пичуги московские – даже корочки горелые склевали, ничего не осталось. Хлебушек-оберег в кулачке перевёлся, нечем больше дорогу замечать, некому Липку об беды спасать. А Лай Лаич не унимается, жите своё пересказывает, бытё приукрашивает – да только концы с концами у него не сходятся.

А послушаешь Лай Лаича правым ухом, обнаруживаешь много интересного. Накло-нила Липка головушку, улыбалась сладким речам, затуманились её глаза. Глядь, а далеко они от Тверской улицы в дебри незнакомые зашли, в переулки узкие забрели. Горбатые, косо-бокие здесь особняки, сырые задворки мухоморами пахнут, на крылечках поганки-грибы растут, ящерики на солнышке греются, на балконах лопухи ладошками машут, полынь-трава колышется, крапива цветёт.

Брехун посреди дороги остановился, преобразился, улочку узкую приласкал, домики старенькие погладил, фонари перекошенные обнял. Я, говорит, начальник разрушенных зда-ний Москвы. Как развеют по ветру особняк – он в моё ведомство отправляется, как рассып-лется от старости музей, он к моим владениям прибавляется, как сгорит какой-нибудь сарай, значит, так тому и быть – я, Собачий царь, над ним полноправным хозяином делаюсь.

По дебрям незнакомым, по переулкам узким они идут. Трещины сеткой асфальт накрыли, плесень стены облепила, снегопады штукатурку обглодали, оголились кирпичи старинные, на яичном желтке замешанные. Потеряла Липка бдительность. Заложило ей ухо левое, слушала она Брехуна правым, в словах его тихих не сомневалась, хоть мало чего понимала, речам его восхищалась и шла за ним, как овца на привязи. А о себе помалки-вала – чего о себе рассказать, мало она в жизни видела, под подолом матери сидела, будто в чуланчике тёмном жила, в телевизор глядела, на картах гадала, чего-то ждала. А Брехун патлы назад зачесал, бечёвкой перевязал. Бородёнку пригладил, курточку поправил. Порты подтянул, пыль с ботинок смахнул. На пять лет помолодел, на десять годков похорошел. Разрумянился, плечи развёл, искоса посмотришь – орёл. Сложила Липка в уме всё домино, которое он выкладывал, бисерины, которыми он осыпал ей головушку, одну к одной приста-вила, выходило, мужик-то встретился дельный. Всех собак Москвы наизусть помнит, каж-дую дворнягу лично по имени знает, зданья разрушенные за ним числятся, многие десятки у него работничков, водятся у него деньги немалые, жинсы у него заграничные, а глаза от жизни усталые. Да у такого Брехуна наверняка есть жена.

Ножки у Липки заплетаются, на ровной дорожке запинаятся, где в асфальте корень пробился, камешек притаился, спотыкается девка, качается, шаг шагнёт, два шагнёт и шата-ется. А Лай Лаич какой заботливый: обнимает почтительно, ручищей не касается кофточка, только немножко за локоть поддерживает. И шепчет в ушко тихие слова: «Ты, красавица, устала. Как бы ты, дорогая, не упала. Что-то погрустнела-побледнела. Может, тачку пой-маем, ко мне прокатимся, отдохнём, гульнём, весело заживём». А щекотно от его любез-ности, жарче бани его внимание. Мнётся Липка, краснеет, отмалчивается, осторожно по сторонам осматривается, понимает, что сбилась с пути, а дорожки назад ей уже не найти. Пожирают Липку угрызения, в голове звучат советы отцовские, вспоминаются просьбы матери, кажется, что псы дворовые за спиной бегут, лапами стучат, когтями скребут. Мере-щится, что тётушки с котомками косо глядят, головами качают – не одобряют.

А кругом незнакомые дремучие улочки, на них домишки-избёнки горбатые. Вон палатка овощная, погорелая – пепелище, головешки, больше ничего. На газонах крапива мохнатая тянется укусить, обстрекать. Растопырил боярышник острые иглы, норовит уколоть. Дворник сморщенный смотрит волком, метлой для вида царапает, не подметает, а только пыль-сор поднимает. Кособокие проезжают троллейбусы, громыхают трамвайчики старые, здесь и голуби хмурые, тощие, и собаки хромые, облезлые. На крышах дурман-трава колышется, рассыпает пыльцу снотворную. На балконах старухи столетние вяжут варежки из тополиной шерсти. Летают пушинки по воздуху, мелькают, снуют, сообразить ничего не дают. Мусор где-то горит, дым застилает глаза, оборачивается Липка назад – не видать, откуда пришла. Где-то поблизости колбасу варят, косточки перемалывают, дух мясной в воздухе, жирный, противный, а всё равно голод просыпается, голову мутит. Глядит Липка вперёд и не знает, куда идёт. А Брехун-то её ведет, пальчиками бережно каждый позвонок гладит, словно заново девушку лепит. Лень такая по спине растекается, опускаются руки, на ласки молчаливо соглашаясь...

Помутились глаза Липкины, искорки в них зажглись игривые, звёздочки заблестели весёлые. Притихла девушка, помалкивает, Брехуна потихоньку оглядывает. А Брехун ей лопатки ощупывает, словно примеряясь, куда крылышки прилепить. Сколько он всего успевает: в глазках собирает огоньки, пальчики гладит длинные, тихо и нежно напевая: «Поехали, красавица, ко мне домой. Напою родниковой водой, ягодой-земляникой угощу, клюквенной настойки поднесу, ножки твои стройные разомну, ручки полотенчиком оботру, всю твою усталость разгоню, станешь у меня расцветать, танцевать и песенки распевать».

Поглупела-обалдела девица. Глазками смущённо захлопала, что-то больно тихо отнекивается, для приличия слегка отстранившись. А ведь ласки Брехуна ей нравятся, так тепло от них, и в голове – туман.

Тут ещё ветер безымянный выскочил из подворотни и ну хозяйничать. Травку-муравку к земле прижал, раскачал крапиву-полынь, расшатал щиты газетные. Видно, соскучился тот ветер, давно не шалил, потрянул хорошенько кусты, согнал воробьев с проводов, в небо клочьями чёрного пепла швырнул ворон и галок. И всё мало ему. Как дунет нешуточно – побежали по асфальту фантики да пыль, разметался халат дворника. Дунул ещё раз, отнял у старух столетних тополиную шерсть, распушил, закружил над крышами. Сорвались паутинки поблёкшие, объявления-бумажки отклеились, белым снегом наземь посыпались вишен лепестки. Перепутались золотистые Липкины волосы, на личико упали, глаза завязав. Баловался ветер, в окна бил, в листе шумел. Звенели клёны, стонали ясени, кланялись берёзки, ломались ветви рябин, падали под ноги. Собрал ветер тучки по клочку, по мотку. Из сараев, из загонов согнал на небо. Потемнело, посинело всё вокруг. Насупился Брехун, от Липки обиженно отстранившись. Хоть прямо на него гляди, хоть косо, не узнать Лай Лаича, будто ветер сорвал улыбку с его губ, унёс радость из глаз. Потемнело лицо Брехуна: лоб наморщился, на щеках, на устах – кромешные сумерки. Колодец тёмный в его глазах, вода тяжелая, свинцовая, льдом затянута, не пробьёшь. Вздохнул Брехун, на небо кивнул и пробормотал себе под нос такие слова:

– Раз не хочешь со мной дружить, гуляй одна. Я пошёл. Будь здорова, не скучай, катайся не спеша. Руки-ноги не ломай, позабудь Брехуна.

Ручищей махнув, решительно к дороге побежал, просторные порты придерживая. Стоит на обочине, незнакомцем прикидывается.

Тем временем под Липкиными ногами, глубоко под землёй, громыхали поезда чугунные, тархтели колёса тяжёлые, искрили рельсы дармоездушки, свистели вагоны синие. От шума-бедлама зашевелилась ночь в своей берлоге: повернётся на один бок – что-то не

спится, повернётся на другой – ни близко, ни далеко сна нет, повернётся на третий бок – ни одному глазку не удаётся задремать. Уж она причмокивала и позёвывала, в шаль куталась, подушку кулачком колотила. Вытягивалась ночь, почёсывалась, глаза жмурила. Лёжа на одной спине, галок городских по памяти пересчитывала. Лёжа на другой спине, балерин в чёрных пачках представляла. Лёжа на третьей, сколько колонн у Большого театра вспоминала, а сон всё не приходил. Решила тогда ночь, раз сон к ней не идёт, надо самой ему навстречу спешить. Нехотя из берлоги выбралась. Незнакомкой в черном пальто вылезла на платформу. Тетушкой в чёрной косынке прижималась к дверям вагонов. Ехала ночь в поезде полуденном, в поезде немногочисленном, не за кем было ей спрятаться, не за кого укрыться, натягивала платочек, воротником прикрывалась, журнальчиком заслонялась, а на журнальчике том чёрная обложка: духи какие-то рекламируют.

Бежала ночь длинноногой девицей в чёрных сапожках по переходу. Девчушкой в синем комбинезоне цокала по эскалатору. Вырвалась ночь из стеклянных дверей, из дверей метро, ослепла от света дневного, оглохла от шума улиц. Ветер подхватил её под три руки, разметал перья длинные, взъерошил густой сверкающий пух. Взмыла ночь в небо, наступили сумерки посреди дня. Потемнело всё вокруг, насупилось, зашепили прохожие, заторопились гуляющие парочки, гости столицы прибавили шаг, попрятали фотоаппараты в сумки. Собирают туристов в автобусы, бабушки по домам бегут, собаки по закуткам разошлись, птицы в листве схоронились. Опустели весёлые улочки, разошлись торговки и лоточники, разбежались какие-то личности, что всегда у метро слоняются, притихли центральные площади, обезлюдели лавки в сквериках, вмиг остались без посетителей рестораны-кафешки летние. А потом обезумел ветер, стал дома шатать, в окна хлестать. Ясени вековые, как былинки полевые, гнутся, того и гряды поломаются. Вырвал ветер-ворюга у Липки золотой волосок, вырвал второй, полетели они над городом, закружили над крышами железными, над кронами зелёными, навзрыд шумящими.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.